

Сергей Соловьев

АДАМОВ МОСТ



Сергей Соловьёв

Адамов мост

ИП «Центр современной литературы»

Соловьёв С.

Адамов мост / С. Соловьёв — НП «Центр современной литературы»,

ISBN 978-5-91627-106-5

«Адамов мост» – новая книга поэта и путешественника Сергея Соловьёва, одного из ярких представителей метареализма, автора 15 книг прозы, поэзии и эссеистики, среди которых: «Пир», «Книга», «Дитя», «Аморт», «Крымский диван», «Индийская защита», «В стороне» и др. На географической карте Адамов мост – цепь необитаемых островов между Шри-Ланкой и Индией. Согласно преданию, по ним шел Адам из рая на землю. По другой легенде – это путь бога Рамы, шедшего в противоположном направлении – в сад демона, чтобы вызволить свою возлюбленную. Герои романа странствуют в подвижном лабиринте отражений на границе рая и изгнания, между двумя берегами Адамова моста. «Стиль Соловьёва – продолжение не слишком частой в современной русской литературе традиции, связанной с «Египетской маркой» Мандельштама или «Школой для дураков» Саши Соколова. Стремление соединить повествование, имеющее различимый сюжет и героев, с концентрацией смыслов, свойственной скорее построенному на ассоциациях стихотворению» (А. Уланов).

ISBN 978-5-91627-106-5

© Соловьёв С.
© НП «Центр современной литературы»

Содержание

Часть первая	6
Барка	6
Харидвар – Ченнаи	10
Раджаджи	12
Барка	21
Пумпухар	26
Барка	34
Манора	37
Барка	43
Дорога в Рамешварам	48
Рамешварам	51
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Сергей Соловьёв

АДАМОВ МОСТ

Открытие за открытием, ослепительная новизна и совершенно сумасшедшая свобода в словоупотреблении. Текст переливается цветом, как мокрая смальта, попавшая в цветовой луч. Напряжение этого письма – между превращением и преображением.

Алексей Парицков

Это поэт уникальных состояний с гениальным внутренним прочтением.

Александр Иличевский

Есть такой литературоведческий термин – «пристальное чтение» (close reading). Применительно к Сергею Соловьёву следовало бы изобрести родственный ему – «пристальное письмо». Устройство его таково, что требует навести на резкость вещи и переживание мира, обычно расфокусированные, существующие на размытой границе нашего знания. Это тоособенновернод ля« последних»вещей, именно они от нас дальше всего (близость, любовь, смерть).

Александр Скидан

Проза поэта Сергея Соловьёва – это стилистическая воронка, в которую нас затягивает, как корабль Одиссея, водоворотом самой речи. Автор «водит» читателя, как мист в Элевсинских таинствах. Эта проза – «трудное счастье», которое испытает, надеюсь, любой верящий в эпикурейство языка в духе Сосноры и Мандельштама, Джойса и Даррелла. Это проза – в буквальном смысле – культовая: своеобразный митраизм. Когда, как в Элевсине, выходишь – и видишь Солнце.

Илья Кутик

То, что делает Сергей Соловьёв – ни на кого и ни на что не похоже, и никуда не втискивается, ни в ожидания, ни в представления. Это письмо держится не уловками, придуманными поколениями романистов, а на чуде слова и чувстве счастья.

Михаил Шишкин

Часть первая

Барка

Я слышу ее шаги, она спускается в трюм. Или то, что он называет трюмом на этой барке. Не мне судить – барка ли это, я не знаю ее снаружи, я здесь, внизу, в полутьме. Пусть будет барка, плоскодонка то есть, с тупыми бортами, без двигателя. Что ж, возможно.

Она спускается, Юлия, жена шкипера. Значит, теперь она Юлия, жена шкипера. На шпильках, зачем? Чтобы казаться еще выше? Смотреть на тебя свысока? Это не трудно: лежу на низком помосте, – доски, матрац, свеча в изголовье.

Входит, пригнувшись в дверном проеме. Нескладным таким переростком была, чуть сутулым и близоруким, – куда это делось? Теперь она Юлия, распрямилась, движенья спокойны, не то чтоб точны, сосредоточены. Светлые волосы, прямые, до плеч, покрасилась. А были цвета излета ночи, с медью. Колкие. Лгнула когда. Или я. На одной подушке, а вместо ножек кровати – стопки книг. Надо сеточку надевать тебе на ночь, капроновую, шептал в шею, длинную, неумелую, как все в ней. Да, улыбалась во тьме, прижавшись всем телом, луковую. Там еще речушка с ивами была за окном, похожая на Салгир. Там, на пародонтозной окраине города, похожего на Москву, была эта милая, чуть виноватая улыбка из Симферополя. Как же тебе удалось так устроить, смеялась она глазами, по-детски тычась мне в губы, что ты там нашептал за окно? И семенила босыми ступнями от счастья. Там, на голой кухне без занавесок. Старое кресло, из которого сыпалась поролоновая труха, и, брошенный на карниз в правом углу, отрез алого шелка, как парусок, а море – в снегу, во тьме.

Склянки пробили, то есть полдень уже, вошла, еду принесла, поставила рядом, свечу заменила. Что? – чуть вскинув голову, спрашивает глазами. Смежил, открыл. Такой разговор. Легкий топоток наверху, значит, мальчик остался на палубе. Да, наверное, можно и так сказать: палуба, мальчик, сын. Лёня. А она – Юлия, топоток.

Теперь она одевается по-другому. Черные, облегающие, чуть расклешенные книзу брюки, широкий пояс с инкрустированной арабеской, неяркой, сдержанной, и такое же облегающее серое полупальто, распахнутое, под которым что-то легкое, мерцающе черное. Широкий витиеватый браслет на запястье. Темно-янтарный. Дерево? Не разглядеть в этом сумраке, тень от свечи, подергиваясь, вытягивается на стене. А за стеной что? Не скажет. А если бы и сказала. Цветы весной, кукушка летом, холодный чистый снег зимой. Достоинство и дистанция. Внимательная самостоятельность. Высокомерье вкуса, самозащита, но не уличишь. Не нарочито, почти. Так она теперь одевается или, скорее, держится, потому что, какая же тут одежда – особенного ничего, да и вряд ли из дорогих магазинов. Штучное, да, из сэконда.

Садится в ногах на край помоста, сейчас разговаривать будем, уже говорим, – о том, о сем, молча. О том, что происходит с нами, что было, будет. Молча. Это трогать нельзя. Только глазами, чуть отвернувшись. Тропки протоптаны, бережные, по кругу. Говорит в дальний угол, поверх меня. Профиль ее в полутьме, в отблесках, – римлянин, легионер. И шлем волос. И нос воина, римский. И линия рта – широкая, непреклонная. Когда не дрожат губы – детские, пересохшие. Давно не дрожат, кто ж это помнит. Теперь она Юлия, вне подозрений. Как за стеклом сидит.

А когда-то привел за руку с улицы – дылдочка, бомжик, вся гордость и милость, оранжевая куртка до пупа, драные башмаки, а глаза певчие, предрассветные, и смотрит сбоку так, недоверчиво, – то ли клонуть, то ли прильнуть. Тряпочку постелила под батареей в кухне, села, прижав колени к груди, и глазам не верит: вот и судьба. Тряпочка эта лоскутная и зубная щетка – весь ее скарб, и мобильник в кармане, сломанный. И такое счастье – тихо так через край

лется, что не может губы собрать, только смотрит во все глаза и дрожит – там, на тряпочке, под батареей, а за окном листья летят, потом дождь, снег, годы...

А ведь день не остыл, как она незаметно уйти пыталась, пока я просыпался, пока, как сказала, карета не превратилась в тыкву. Поймал ее за руку у двери, прячет лицо, щетка зубная торчит из кармана. Пойду, говорит, я пойду, и все тише, в сторону, в отклеившиеся обои, совсем без сил: отпусти...

Что же было той ночью? Хмель, бездорожье тела ее – близкого, чуждого, неизъяснимого. Не кричит, только дышит, смотрит в лицо и дышит, так отчаянно глубоко, будто там, подо мной, во тьме – не она, а брошенный дом и разбиты окна.

Странное, как бы сказать... происшествие тел. Будто были они в стороне от нас, – там, замуренные, рукопашные, ненасытные, в одиночку. И потом еще долго лежали там, перебирали друг друга, как жизнь, как письма, как сны, припоминали, что-то шепча, обжигаясь, пока мы за столом сидели в другом углу и без умолку говорили, пили, шлялись по улицам, возвращались с шампанским, цветами, какой-то едой. Может, души родные? С чего бы?

Вот что, наверное, – речь, полоса превращений.

Эта повадка ее, интонация, обертоны, сложный рисунок и вместе с тем легкий и точный. Да, с этого началось, с превращений.

Она расстегивает пуговицы на пальто, движенья замедленны и безвольны, будто и не ее рука, не ее пальцы, и взгляд отрешенный, вроде разглядывает картину, висящую на стене. Охотник с копьем, какой-то бушмен, метнул и присел, так кажется, но может и что-то другое, не разглядеть, самый темный угол.

Еда на подносе. Суп петушиный. Еще не остыл. Да, тот тощий петух, из-под полы в Кокраджаре, помнишь? Как нас туда занесло? Дальние перестрелки, хмурые племена, домик в лесничестве, мадам Гхош с допотопным ружьем, призрак короля Шилорая и этот петух-пуруша, которого ели мы дни и дни, а он все возрождался – в новых и новых блюдах, и ты, облизывая ложку, умирала со смеху от этой моей стряпни, помнишь?

О чем же мы говорили тогда, бродя по притихшим дорогам среди списков убитых и запрокидывая головы к золотым лангурам, сидевшим на перебинтованных деревьях, как брейгелевские детки, о чем? А в ветеринарной хижине на голом земляном полу во тьме лежал изрубленный деревенскими подростками питон и, подергиваясь, сипел скошенным полуоткрытым ртом, будто дул в гармошечку. И хромоногий павлин, прижавшись к стене, смотрел на него из дальнего края хижины. Мы постелили в тени за домом. Бабочка-вестница села на мизинец твоей ноги, я разглядывал ее в бинокль, осторожно положив голову тебе на живот. Ты была тогда уже на третьем месяце, да?

Смотрит куда-то поверх картины, пальцы замерли у нижней пуговицы, о чем? Если б она вязала, – шерсть, спицы... Она могла бы. Но что? Какой-нибудь бесконечный узор. Приходила б, садилась в ногах, вязала, а я бы смотрел. Было бы легче. Или читала что-нибудь. Геродота. Как английскому пациенту. Могла б и на память. Она могла бы. Ты еще будешь по мне тосковать, говорит. Не разжимая губ. И смотрит поверх – в тот темный угол, где копье летит.

Может, и так. Ведь не в знании дело (знала), не в интуиции, такте, вкусе (да), но и во врожденном даре, который с годами пророс ее всю. Как росток баньяна превращается в рощу, и уже не найти ни концов, ни начал.

Ни с кем не испытывал я такого подробного, напряженного и вместе с тем по-детски безоглядного наслаждения от речи, как с ней. Не только интеллектуального, но и, странно сказать, телесного, сродни физической близости. Близости и дистанции, притяжения и неслияния.

А может, она ничего и не говорила тогда, больше молчала? Да, наверное. Откуда же это чувство – из «потом»?

Дичком, нелюдимом была. Не так? Еду приготовлю, ставлю на стол, а она сидит, как на жердочке, обняв колени, светится вся, дрожит, и есть не может. На меня смотрит. Ну две-

три ложки, и то – когда уговаривал, как ребенка. А моисейку помнишь – в то первое наше утро? В кухне – шаром покати, нашел какую-то манку от прежних хозяев, вот, говорю, во время оно в имперских ресторанах подавали тройной или четверной гарнир, назывался он сложным, а сложность его была в этом третьем или четвертом, похожем на горку мокрого песка, маленькая такая дюна в ненастный день, вот ее мы и создадим. Сыплю манку на раскаленную сковороду и помешиваю, она темнеет, снег в окне, ты на жердочке, смотришь, а я заливаю ее кипятком, шипит, пузырится, впитывает, пар столбом, много манки, воды не хватает, сколько ни лью – впитывает, густеет, восходит, ширится, как пустыня под ливнем – во все края, а по ней народ израильский сорок лет идет, год за годом, а ты все сидишь, ладони к губам прижала, еле сдерживаясь: моисейка! А потом эти два синяя на стол поставил – тебе и мне, восходили, вернее, я.

Кто эти двое? Неузнаваемы. И свидетелей нет. Виталий, она меня называет теперь. Могла бы и с отчеством, с нее станется. Виталий – надо ж такое придумать, вздрагиваю, не привыкну никак. Но и ее ведь стал звать по имени, этим чуждым, немислимым прежде, втянула все-таки. А была любой, любушкой...

Здесь, говорила, в сердце – светло и страшно. Такой открытости я никогда не знала, будто все голое, все раздето – я, ты, все на свете. Так это счастье жжется. Не называй меня никому. Даже если мы есть...

Плел косичку ей, маленькую, гордую. Или наспех – два хвостика на аптечных резинках. И ночнушка в блеклую цветочную крапинку. Незабудки? Полевая кашка? Такая милая щемящая несуразность. Чуточка, говорила, есть она у тебя для меня? Тихо, одними губами: чуточка... Так, что горло перехватывало. Того самого чуточка, которого не было, как казалось тогда, чувства.

Странно, мы оказались сверстниками, хотя она была почти на двадцать лет меня младше. А я моложе. Нет, не так. У нее было два возраста: тот, что старше меня, и совсем маленький. И она легко переходила из одного в другой, как живут по соседству. А когда мы сошлись, незаметно сместились в детскую, оба, из чувства самосохранения, светлого чувства, ложного, самонадеянного.

Как сказал свами (наш небесный жулик, как она порой называла его после нашей совместной поездки в Акаши за списками судеб): это как у Фомы про круг Бога и вписанный в него многоугольник человека, – чем больше граней у этого многоугольника, тем ближе к божественной полноте. Так и между мужчиной и женщиной. Мальчик-девочка, мать-сын, отец-дочь, любовник-любовница, муж-жена, друг-подруга и так далее. На одной ноге, детской, далеко не проскачешь. Встал, подобрал юбку и поскакал.

Да, сверстники, странно. Все помнит, будто жила со мной изо дня в день, когда ее и в помине не было. А потом родилась – где-то в Будде. В Будде Понуровской, в брянских лесах, подумать только. Одиннадцать дедушек и один брат. И корова – Субботка, соблюдаемая. В избе живет, напевает под нос, как мычанье, простое, Субботка, у оконца морозного, дышит в него. А девочка под одеялом растет, читая с фонариком, быстрые глазки, нетерпеливые, ест книжки, уголки страниц тебе, отрывает и ест.

Маленький такой большеротый борхес с двумя косичками под одеялом. И отец – медведь, огромен и домовит. И мать – цыпа с пружинкой стальной внутри. Искоса поглядывают на нее со смесью гордости и испуга: что ж за яйцо они высидели? Словари поправляет, выигрывает олимпиады, бросает университет, уходит в корректоры, в нервное зеркало, в одиночное плаванье.

Вот есть верх и низ, фундамент и крыша, а стен нет. Дон Кихот начитался Сервантеса и ушел из дому – в книгу. А потом этот домик без стен рушится от первого дуновенья.

В желтый дом они понесли его, егеря, – шкипер и те двое. А ты стояла на барке и голубей кормила. Ты, Юлия.

Помнишь, как-то легли под утро, то есть всегда под утро, работали по ночам. Не за деньги – они еще были у нас тогда, а в радость и по любви. В трудную радость, как Платон говорил. Не такая уж творческая, но все же. Наша ночная алхимия, странствующая, вполкапания. Потому что – кто главный? Пробелы, зазоры, мостки воздушные и следы. Под утро. А за окном какая-то тундра времени, безлюдье, летняя летаргия. И мы валимся на кровать, даже сил нет раздеться. На полукровать, полураздевшись. Она тоже похожа на тундру, кочковатая, в ямах, горбах, чреватая скрипучими недрами. Без ножек и под наклоном к концу света, как тундра, сколько ни подкладывай под нее книг. И ты во сне все время скользишь ко мне. Под утро. Но перед тем включили аудиокнигу – «Солнечный удар» Бунина. Помнишь? Ты-то все помнишь, а я без тебя так мало, крохи. В сон проваливались, даже не в сон, в забытье. И вдруг открывали глаза и тихо смотрели в лицо друг другу. А тот поручик с безымянной женщиной стоял на палубе, и руки их на поручне соприкасались. И снова проваливались – то ты, то я, и этот удар солнечный расходился кругами – вверху, где звучал, и внизу, куда исчезали. А там, в опустевшем без нее номере гостиницы, лежал поручик, вдыхая запах этой маленькой женщины, следы которой все еще были повсюду – чашка, шпилька... и прижимал ресницами слезы, вдруг осознав, что вот здесь только что началась его настоящая жизнь и оборвалась по нелепой случайности, по неизвестно чему. И такая отчаянная ненужность дальнейшей жизни без нее, этой вчера еще незнакомой женщины, чье имя... И снова всплывали из забытья, и из этих провалов и пробуждений складывался какой-то другой рассказ. То есть их получалось три – Бунина, твой и мой. И что-то они между собой выясняли, переплетаясь, ветвясь. Уже стемнело за окнами, а он все шел по тому уездному городку на волжском берегу, куда какое-то время спустя приедет мама – строить плотину, и отец будет писать ей письма, немножко бунинские, вот эти, перехваченные резинкой, на верхней полке над кроватью, где мы лежим. Шел, вспоминая запах ее загара и платья, ее простой и веселый голос: зачем вам мое имя? я совсем не то, что вы могли подумать... И мы все проваливаемся и всплываем, и этот рассказ не кончается, будто ходит по кругу, или там реверс включен, или что-то со временем происходит, только глаза твои у моих ресниц: *я совсем не то, я совсем не то...*

Она прислушивается, чуть приподняв голову. Кажется, мальчик зовет ее. И следом – краткий хрипловатый звук. Шкипер? Или снасти скрипят? Топоток. Побежал, шлеп-шлеп, стихло.

Рива-де-Гарда называлось то место – городок и альпийское озеро с Желтым домом на берегу. Голубь на ухо ему сказал, бургомистру Ривы: завтра прибудет мертвый егерь Гракх, прими его во имя города. Егерь кивнул и провел кончиком языка по губам.

Но бывает и так: вот живешь и думаешь, что это твоя реальность. А может, ты и вся твоя реальность находитесь внутри какой-нибудь случайной фразы. И нет никакой возможности ее прочесть, потому что ты внутри нее, и только ловишь смутные отголоски, – там, в других словах, фразах, страницах, где заключены такие же блуждающие узники, как ты.

Да, она говорит, я лишь временами живу в маленьком слове, в ударном слоге, в котором на мгновение теряю свою ни на что не пригодную голову. Так он писал, говорит, не разжимая губ.

Свеча разгорелась. Рука моя, вытянутая вдоль тела, почти касается ее ладони. Почти, но расстояние это не сократить. Она сидит, глядя в незримую точку, чуть левее картины, лицо слегка запрокинуто и недвижно. В отблесках ее профиль, если долго смотреть, становится все больше похож на твой. На ту тебя, которой была когда-то. Чуть в расфокусе. И немного – на Данте. Или его сестру. Не разжимая губ.

А потом, ночью, его вынули из могилы, и долгие годы никто не знал, где он.

Она поднимается, берет поднос с нетронутой едой, уходит.

Харидвар – Ченнаи

Это пакори, овощной хворост, говорит он нам, оборачиваясь к разносчику. Пять рупий. Возьмем, вкусно. Да, да, говоришь, имитируя его голос. Это когда мы уже в поезде с ним и двумя японками едем на юг через всю Индию.

Да, да, говорит, правда это всегда парадокс, она ни справа, ни слева, а и там, и там. Правда – шизофренична. Как расширение сознания, его симфоничность – от минерала до ангела. Иначе – сужение мира до одномерной червячной последовательности – чувств, мыслей.

Или это ты говоришь? А диктофон включен, лежит на столике, японки на полках вымакивают огонь с рисом, морщатся, улыбаясь, особенно Тара, пальцы облизывает, замирает с чуть приоткрытым ртом, свесив голову, глядя в перевернутый мир в окне, ждет заката. Идут трансвеститы, поют, оглаживают бедра. Ханси отворачивается к стене. Пас, пас, говорит свами безногому мальчику, который трет тряпкой пол у него под ногами.

Можно ли сказать, что в какой-то момент любое дерево, лист, лужа, состояние света могут стать той точкой трансформации, о которой ты говоришь? Ведь, собственно, речь идет о любовном настрое, о приятии, слиянии... А для того чтобы его приять, он должен дать себя, без его воли – предмета или явления, к которому обращено внимание, восприятие вероломно. И мышление – первый его сообщник.

Ты как бы за него проговариваешь, а он подхватывает. Диктофон на столе. Странно все это. Сильный человек, сложный. Как ты говорил о нем? Лента Мёбиуса: внешнее – внутреннее, есть шарик, нет шарика, – не ловится, не ухватывается. Все текуче, легко, певуче, – вода, глина, а чуть тронь – магма. Пугало воткнул в огороде и лупит палкой его. Пугало Запада лупит по самым его уязвимым местам. Зачем? А Аввакум зачем? Может, природа огня такая? Как нефть, горит на воде. Горит, не тонет.

Да, наверное. Взять хотя бы его канву, что мы знаем? Русский с прививкой персидской крови. Родился в Баку в конце сороковых, послевоенных, дед суфий, бабка знахарка, отец – кремлевский чин, генерал, страсть к лошадям, белые скакуны под Берлином, цыгане... О матери ни слова. Детство в Баку, особняк, мандалы ковров над кроватью, караваны верблюдов, закаты в тяжелых рамах. Бег по крышам, лисица, сброшенная в колодец двора; летит, шнуруя его огненной нитью, лежит со сломанной головой и открытым глазом, еще живым, смотрит ему в лицо. Лужица крови, чуть красней, чем ее язык, в ней подрагивающий. Москва, Суриковское, ВГИК, богема, Рига, самиздат, йога, смерть отца, тюрьма, вместо «инакомыслия» пишут «изнасилование», пять лет. Перестройка, вид на жительство в США, Германии, Индии, выбирает Индию. Ходит в рубище с палкой, годы, Ришикеш, верховье Ганги. Один живет, пять языков, включая хинди, санскрит читает. Свами.

Хлебушек, говорит, вкусный, – жаль, что масло кончилось. Смотрит в окно, поезд идет на юг. Но соль осталась. И, поглядывая на диктофон: в физической алхимии соль – Меркурий. В алхимии внутренней – твердь, земля. Да, говорю, соль земли. Но эта какая-то странная. А! Это черная соль, хотя на вид розовая. Гималайская, вулканическая, немного яйцами пахнет. Да, принимаешься, тухлыми... Будем, говорит, вкушать хлеб. Что есть знанье цветка или яблока? Это когда ты становишься им – ароматом, вкусом. А хлеба? Когда ты становишься и зерном и водой, мужчиной и женщиной, их сливаем, – в печи, в утробе.

Положили хлеб в рот, и двое стали одним. Это – знание. Прочее – представление...

Лег на верхнюю, закрыл глаза. Гималаи, исток Ганги (да, женского, на санскрите). Вьющийся вниз серпантин дороги. За рулем – в мучном полотняном костюме – индус, жует бетель, поглядывает в зеркальце. Одну ногу надо всегда держать на весу, говорит, уводя полмашины в пропасть. И, возвращая ее на дорогу, добавляет: иначе вязнешь. И в радости? – говорю, глядя на спящих на скальных уступах паломников с лицами, какие бывают только в самых счастли-

вых снах, в детстве. Да, говорит, и в любви, и в смерти. И в Боге? Да, и в жизни, сплевывает бетель в окно, – иначе вязнешь.

Начать с этого. Человек – художник. В этом и путь, и смысл. Смена ноги. «Мастер», творческая обитель. Февральские встречи. Ришикеш, манговая роща. Башня, два-три гостевых домика. Баньян, костер. Мельница. *Тат твам аси* – на разных языках, на лопастях. Река читает бесконечную мельницу-книгу. Дверь открыта, дороги к ней нет.

Чай, чай! – идет по вагону, бидон везет на колесах. Чайчайчайчай!

Ду, говоришь, масала.

Свет как занавеска полощется, бегут деревья. Орлы, бурые, проносятся мимо, будто их из окон выбрасывают. А ночью – открыл глаза: где мы? Каменные облака врыты в землю по грудь, и луна над ними, голая, беленеет. Семь голов, вниз лицом, а на шее одной из них – шов горящий. Поезд? Меркнет, мертвенный свет. Грузные вентиляторы на потолке, как чучела птиц. А под ними фрагменты тел – локоть, спина, колено. Спишь, подо мной, на нижней. Да, к ноябрю. Закончить. Чуть в стороне. Что на том перевале между «я» и его расплетом, растворением в безымянном? Если в этом путь, в переходе. Души подобны амфибиям, говорит один, и живут они то на этом свете, то на том, – смотря по обстоятельствам. А другой, через семнадцать веков: «Мы слишком рано приходим к Богу, и слишком поздно к Бытию». Или наоборот? По обстоятельствам.

Когда это было? – свами, ладонь, вглядывается, сверяя с картой. Гадает мне по руке. Ну, говорит, допустим. И есть, и нет ее впереди. Ни черты, ни приметы. Даже имени нет. Ты и не видишь ее, хотя давно уже с ней живешь. Внутренне. Весь обращен к ней. К ней, которая еще не пришла. Так рассказывают слепой или утратившей память. Или той, которая далеко, не здесь. Странно, говорю, значит, ни тела нет у нее, ни лица, ни голоса, ни судьбы? Но что-то должно же быть? Да, улыбается, есть. Счастье. Даже Атман бессилен перед его природой. Берет ситар, садится на коврик, перебирает струны: что ж тут мудреного – можно дышать со словами, а можно и без. Да, говорю, нимфа, эхо, дочь памяти и воображения, действительно ничего. Когда это было? А теперь вот она – любушка, лежит на нижней, фонари листают ее.

Видно, двое их там. Один спит, другой поезд ведет, поет. Весь характер его в этом звуке, который и гудком не назвать, – песнь. Да и песен ведь нет таких. Что ж за музыка это, кто бы мог ее петь? Не человек, не камень, не дерево, не огонь. Кто? Кто, незримый, ее переводит, эту девочку времени, через небо, поля, через все это светлое, смертное, на иголках, переводит ее, эту девочку, а лицо ее, запрокинутое, слепое, старше земли, да и время ей кто – мачеха? Этот голос – долгий такой и дальний, с дымом, с домом пустым и теплым еще, как в ладонях лицо. Нет таких у людей ни голосов, ни чувств, ни памяти. Поет, будто сердце свое распускает на нити, изводит на тропки, где тонко, где ты. Будто мост перекинула в небе, шаткий, – куда? Идет, незрячая, запрокинув голову, и поет. Нет столько воздуха у живых, чтобы так долго ветвить эту ноту, не переводя дыханье. Даже мелодией не назвать. А вся жизнь ложится в нее, как в лодочку, и отчаливает. Вверх, в небо. А мы сидим с тобой в тамбуре, на подножке, и земля плывет перед нами, как свиток, к югу разматываясь. Как свиток сновидческий с влажными буквами на просвет. А он все гудит, поет, там, далеко впереди, во времени, этот девочка-машинист, эта бабочка света, насаженная на иглу.

Раджаджи

Помнишь, спим, снится, глаза открыты, тихая флейта поет, уже не в раю, но еще не в изгнание. Будто дверь подрагивает между ними, то откроется, то затворится. И ни души в обе стороны. Смертная даль, сладкая горечь. Там, наверно, за жизнью, где души, как пух тополиный, летят, оттуда этой мелодией, как сквозняком, тянет. Помнишь, в псалмах Соломона: но и они проходят; и мы летим...

И вдруг – будильник, ты завела его на пять утра. Вышли, как две сомнамбулы, во внутренний дворик, ты в сорочке белой во тьме, и я за тобой, река шумит внизу за решеткой. Обезьяны на дереве потягивают, как утопленников, подтягивая младенцев, соскальзывающих вниз меж колен, в листву. А он сидит у решетки, мы не сразу его заметили. Немец, сосед. Такой же немец себе он, как небу облако, было – сплыло, другое будет. В каждом из нас сухостой, мхи, камни, много мертвого, углы, тяжесть. А в нем – нет. Не то чтобы нет, но и не скажешь: меньше. Отблески, как от огня, легкие полутени. Тинки-Винки, ты его назвала. Тинки-Винки. Почему?

Обернулся, флейта в руках. Большие ладони, как дальние страны, как книги в детстве. Из той эпохи – до Гильгамеша, цветы земли, середина пятидесятых, но за межой, один. Ищет певчий бамбук. У него был гуру – в Японии, вместе играли. Пепел учителя он перевез сюда. Маленькая урна стояла на тумбочке у кровати. Потом с настоятелем ашрама они развеяли прах над Гангой. Поначалу риши отказывался, ритуал не для пришлых. Но потом, высыпав в ладонь несколько крупиц праха, как бы взвесил их, взглядываясь сквозь большие очки в золоченой оправе. И, помолчав, сказал: святой человек. И развеяли.

Он приезжает сюда все реже, сидит у реки, в тиши, за излучиной, играет. На два голоса. Там, в Германии, у него дом в лесу, на границе с Чехией, несколько учеников из ближайшей деревни.

Берегите себя там, в джунглях, – говорит, глядя на ту сторону реки, уже залитую светом. Бубенцы звенят над ней, ветром сыпет их с одного берега на другой, как из ладони в ладонь. – Когда вернетесь, меня уже здесь не будет.

Длинный безлюдный мост, ярко-синий, на его фоне и небо – почти бесцветное. Ты идешь чуть позади меня, то и дело свешиваясь за перила, глядя вниз. Что они там ищут в камнях – рыбу? Золото? И догоняешь меня размашисто и немного нескладно, как всякое счастье. Косички ты заплела для меня веселые, ловишь меня на бегу за руку, оранжевый рюкзак на спине. Пусть идут, любушка, пусть они держатся за руки, эти *мы*, пусть говорят на птичьем. Может, там, впереди, подрастут, станут нами.

Чила, деревушка у края леса. Вошли в заповедник. Три тысячи лет. Три, не меньше. Этому часу полуденному, деревьям сновидческим, свету молочно-медовому, нам, грызущим эти терпкие райские яблочки, этой волшебной узорчатой книжке, севшей на твое плечо, она распаивается на разных языках и складывается, будто ошиблась страницей. Да, как тогда. Эти олени-девочки шелестят в кустах. Маленькие, пятнистые, как школьницы в байковых светло-охристых сорочках. А где ж родители? На лесных работах?

Несколько хижин, а крайняя к лесу – его, Дэнью, погонщика, вон он сидит на пороге. Семьдесят лет ему, и Кшетре, великой слонихе, ровно семьдесят, так и живут, с детства не расставаясь. Он на пороге лачуги сидит, дремлет, и она, напротив него, стоит, раскачивается, перебирает хоботом ветви у ног. И когда он роняет голову, она кидает ветку – навесом – к его ногам, он вздрагивает, открывая глаза, кричит ей: «грха, грха!..», и еще вдогон этот горячий щепень речи. А она смеется своей тихой руиной рта, смеется, опустив голову, перебирая у ног ветки. Был у нее муж, из диких, ходил из джунглей, когда была молода. Умер. И жена умерла – у Дэнью. Двоих сыновей оставила, хижина вся, как цветущим плющом, обвита внуками. Рас-

тут, а напротив, в простенке, она стоит, раскачивается, улыбаясь. Около двух пополудни, они спускаются к Ганге, и он садится на камень у воды, тот же камень, что и двадцать, и пятьдесят лет назад, а она входит в реку и валится на бок, и ее несет потоком, так, что только хобот виден над бурунами. Две женщины, две великих реки входят друг в друга, становясь единым.

А потом мы обхватываем ее хобот, и она переносит нас через голову и сажает на спину, голых, в такой же чистой грязи и пыли, как и она, и мы плывем над выжженной травой, и чувство такое, что роднее и нет ничего на свете.

Дэнью привстал, вглядывается против солнца, не узнает. Желтое редколесье зубов, борода окладом, седая, хной крашенная. Лысая голова, очки черные. Идет навстречу, вскипает голосом, как мотор, барахлит согласными, крестный отец джунглей. Обнялись. А где Кшетра? Там, у обрыва, над Гангой. А слоненок Йогин – отрок уже, на воспитанье отдан, вон он пасется, у дальней хижины. Вышли к обрыву. Вдвоем, пока Дэнью чай готовит. Да и не Дэнью он оказался, а Мохаммед-хан. А Кшетра... Какая, говорит, Кшетра? Это Арундати...

Ты идешь за мной, не касаясь земли, ты боишься проснуться. Она стоит над обрывом в густой зелени, перебирает ветки на деревьях, слушает, сдвигает листву. И опять слушает, как слушают легкие у ребенка, рот приоткрыт, взгляд в сторону. Там река, как кинжал поблескивает меж любовниками, как кинжал в постели, между городом и природой. Подошли. Трогает руку, дышит в лицо – теплом, прелой соломой, памятью. Щекой прижался к ее хоботу, шепчу в него, слушаю эту влажную, перламутровую, дышит, шумит, как море. Помнит, кивает. И улыбается этим темным теплым древесным светом полуоткрытого рта, водит хоботом над головой, вяжет и расплетает там узелки, легкие, как кольца дыма.

Вернулись, чай пьем. Внучка его, Сарасвати, лет десяти, заплетает волосы тебе и незаметно, из-за спины, подцеловывает тебя. В плечо, шею, еле касаясь губами, на вдохе, на замiranье. Неразбуженная невеста, черноволосая, с уже поднывающей выюшкой в груди.

«Маюр», гостевой домик при заповеднике. Английский газон, столики под фонарями, забор с колючей проволокой. Номера свободны, ни души. В саду сидим, ждем. Фонтаны включили, да, как тогда, похожие на фигуристок, когда они крутятся вокруг своей оси, снижаясь и вырастая. Повар заставил стол в полтора этажа и откланялся. Курица, зелень. Картофель масала. Ласси. Чай с имбирем. И вдруг вижу, как он перемахивает через забор по ветке и несется к нам, чуть подгребая под себя правой лапой, рыжий самец, обезьяний царек – долговязое тело в клочьях свалывшейся шерсти, суконно-засаленная голова в одуванном пуху. Рот оскален в скабресной ухмылке, руки раскинуты по сторонам. Миг – и он на столе, схватил кусок мяса, впился взглядом в глаза, ты отшатнулась, я с размаху бью по столу ладонью, посуда подскакивает со звоном. Взвился, оттолкнувшись ногами от края стола – кульбитом – назад, через голову. Стол опрокидывается на нас. Он улепетывает, скрылся. Официант-петушок собирает осколки, поклевывает воздух по сторонам, не узнает нас, – к лучшему.

Два джила и амбассадор въехали. Рука вышла, сверкая перстнями, за ней раджа в расписном халате, белый тюрбан, туго заплетенный, с алмазной брошью. Телохранители, пятеро, в строгих костюмах викторианской эпохи с игрушечными автоматами на груди. Прошли в беседку. Обедает, сверкает пальцами в тарелке, а те стоят навтыжку. Вплыл в машину. Уехали.

Помнишь ту белую реку, сверкавшую самоцветами, текущую вверх, в небесную синь, и заплетавшуюся там в чалму? А мы стояли на утренней улочке, у нашего ашрама, запрокинув головы, и медленно опускали взгляд: иранский принц с дремучей бородой и теплыми сумеречными глазами, – взгляд опускался: ожерелья, обереги, вспыхивающие мандалы, скарабеи, – взгляд опускался: царственная статья, запахнутая в белые текучие ткани, широкие рукава, скрещенные на груди, пальцы в тихих тяжелых перстнях, – взгляд опускался: тонкие белые шиколотки и – матерчатые пятидолларовые кроссовки. Этот принц, оказалось, бежал из Ирана в Индию, и теперь преподает в привилегированном колледже для иностранцев в Пенджабе, на

границе с Пакистаном... футбол. А в свободное время с жадностью переводит... Хлебникова. С какого на какой? С английского на фарси.

Наш номер напротив кухни. Напрасно. Безмолвная и почти бесплотная обслуга к вечеру пробуждается, учиняя гудеж до утра, подростковый мальчишник. Привалили матрацем дверь изнутри, вроде потише. Ты заводешь будильник на полпятого утра, я укладываю рюкзак: фляга, завтрак, бинокль, нож. Легли. Только уснули, и... Это даже воем нельзя назвать. Псы беленели, захлебываясь рыхлым клокочущим лаем, мокрым от страха. Да, как тот, в Ришикеше. Свами говорит, собаки тут не агрессивны, даже лают редко, вегетарианцы. Помнишь, как мы вглядывались с нашего балкона через реку во тьму? Как он выводил нас из себя своим лаем: не заливался, а завивался в нем... Этот лай начинался сразу после захода солнца и не смолкал всю ночь. Что его понуждало к этой глоссолатии безумия? Если коровы или обезьяны, то почему он молчал тогда целыми днями? Кармическая цепь, говорит свами. Багряная шаль, открытая грудь, стоит на скалистом берегу Ганги, волосы развеваются на ветру, усы подкручены вверх, в одной руке посох, в другой яблоко, на ногах вьетнамки. Или чувствует смерть, говорит, надкусывая сочное яблоко. Это как приближение к темно-синему туннелю. С левой стороны. Собаки видят его смещения. Агхори, которые работают с энергией смерти, – чаще всего с собакой. Как правило, черной, медиумом. Здесь этот лай никого не смущает. И, потрепывая по холке маленькую, пегую, величиной с собаку корову, тянущуюся губами к его яблоку: сказать наверняка, что это была реакция на Махакалу, тоннель смерти, трудно. Это могла быть и обычная паранойя. И отдает ей огрызок, она слизывает его и так и остается в этой позе с опущенной головой, глядя вниз, на зеленый бурлящий поток под скалой. Сидим, свесив ноги, ее голова – между нами, вниз смотрит. А ты рядом, мост фотографируешь, ищешь ракурс. За этим мостом, говорю, бродит черная сука. Она выгуливает стадо коров. Выводит их далеко вверх по течению Ганги, выбирает им место и возвращается в поселок. А к вечеру забирает их и разводит по домам. Да, да, он кивает, подкручивая ус. Корова косит глазом на его руку и снова тянет к нему губы. А позавчера, говорю, в новогоднюю ночь, мы пошли вверх по реке и пекли, как дети, картошку у костра, в тех скальных развалах, вокруг которых песок испещрен следами оленей, обезьян, леопардов, и река захлебывается валунами, пенясь в каменном рукаве. Возвращаясь, мы встретили эту собаку – она стояла там одна, в крошечной тьме, на раскачивающемся в небе подвесном мосту. И когда в порыве ветра мост уходил из-под ног, она оставалась висеть – в луче моего фонаря, висеть на вдохе и опускаться, когда мост возвращался, на выдохе. Пила прану... Пятна света на потолке от фонаря за окном. Что ж они так скулят надрывно, будто кишки по земле волочат.

Наутро мы поняли, в чем было дело и почему над забором колючая проволока в три ряда. Песок за оградой был весь испещрен следами. Ты присела, разглядывая. Леопард? Приложила ладонь, она целиком поместилась, и еще оставался зазор. Тигр?

Джайни-чок, джайни-чок... На юг. К храму Марса, к хроникам акаши, где, по преданию, списки судеб людских – прошлых и будущих. Туда он едет. И нам предложил. Восемьдесят к двадцати, говорит, что ваши списки там. Свой он нашел еще в первый приезд. Все, говорит, совпало. И день смерти указан? Да. Поедем. Не за судьбой, а на юг, с ним. И еще потому, что здесь, в Индии, свет у тебя за плечом, и дороги, как тени, скользят чуть впереди тебя.

Не спим, лежим с закрытыми. Помнишь, Битов говорит: «Летят три пичужки через три пустые избушки. Ну кому я это объясню?» О языке. А тут и язык – как тот пес черный, медиум, в стороне. Кому? Не тебе ведь. Только сейчас мы пришли к порогу полного непониманья мира, в котором живем, точнее – жили. Тысячи лет спустя нашего самозванства. А там уже никого. Летят три пичужки... Что мы знаем о них, о животных, растениях? Ничего. Собаку Павлова. Помнишь те кадры документальные: крокодил схватил антилопу, маленькую, еще подростка. Волочит в реку. И вдруг бегемот – бежит, таранит воду, отогнал крокодила, стал на колени, дышит в лицо ей, щекой трется, а она, бездыханная, глядит на него влажным остановившимся

глазом. И крокодил лежит у воды, замер, смотрит на эту сцену. А бегемот все стоит, то к небу взгляд, то на нее. Лир над Корделией. Зарезали мою девочку...

Что мы знаем о них? Если дерево или птица не могут сложить табуретку или компьютер, значит, ниже нас по развитию? С той же логикой – если мы не можем воскресать из смерти, как зерна, или отрачивать новые ноги вместо отсеченных, как саламандры, или менять пол органично, как рыбы, или владеть световой речью, как глубоководные существа, или перестраивать свой молекулярный уровень, переговариваясь на больших расстояниях, как акации, – то что? Наша техника в большинстве случаев – плагиат. Сальери у Моцарта. А этот бред, которым нас пичкают еще со школы, – инстинкты. Каким инстинктом влекома пустынная эфа, ползущая десятки километров, в районную больницу, чтобы свернуться на груди умершего там мальчика, которого лишь мельком видела, свернуться и уснуть навсегда? Или та косатка, помнишь, выхватила из стада детеныша тюленя, и бросала его в небо вдали от берега, и ловила, – хищник жертву, а потом вернулась и носом подоткнула его под мать, невинного. Или те морские львы, чей инстинкт – жить в стаде, ушли вдвоем, он и она, в маленькую скальную бухту, сильные и молодые – на весь свой век, до старости. Лотман где-то писал, что с точки зрения животных мы – существа непредсказуемые, то есть безумные. Это еще мягкий взгляд. Светает уже. И псы на дворе смолкли.

В лесу еще темень. Просека чуть светлеет. Прохладно, пришлось надеть свитера. На поясе нож, на груди бинокль. Океан леса, по дну идем. Ты вдруг обняла меня, глаза певчие, вся в смятенье от этой нежности на иголках, держишь мое лицо в ладонях, как расплескать боишься. Тише, смотри: стадо оленей вышло на просеку. Колеблются в мгlistой воде воздуха, как снимки в проявителе. Хруст в кустах, шелест. Вот он, шагах в двадцати от нас, кабан, нет, самка, маленькие арстанты бегут за ней, скользят в траве, в полосатых пижамах. Вышла на просеку, вспыхнула, стоит в луче горчичном, дымится. Смотрит, головой потряхивает, глазки копеечные, вертятся на ребре, тяжело ей под маской. Дернулась, затрусилась в кусты. Паруса света плавают меж деревьями, прибывают. Крик вдали, в чаще. Будто кого плетью бьют, голос фаянсовый, чуть надтреснутый: а! а! а! – с равными промежутками для вспорха плети. Павлины. К весне готовятся, репетируют. Мангуст пробежал, обернулся. Улыбнулась, так и осталась с улыбкой. Какое чудесное слово: манг-уст, – тихо, одними губами, и тянешься ими ко мне. Как мало нужно тебе для счастья. Один мангуст...

Развилка. Светло уже. Земля в следах вся, огорошенная, в копытцах. Свет настаивается, вязнет в хвое. Орех, ветвистый, стоит и трясется, плоды сыплются, листья. Кто? Лангуры. Снежные человеки. Чуть сероватый снег. А пальцы в тонких черных перчатках. И лицо обугленной красоты. Желтые угольки глаз, нервные губы. А этот, на нижней ветке, сидит спиной к нам, смотрит в просвет меж деревьев на восходящее за рекой солнце. Не шелохнется. Самочка подобралась, в лицо заглядывает. Не поворачивает к ней головы. Солнце уже в глаза, а он все сидит, прикрыл веки и медленно разжимает ладонь, смотрит на орешек в ней, и видно, как долго он возвращается, из каких далей, и провожает взглядом его, летящий к земле.

Идем вдоль берега под юбочным навесом кустарника, он ниспадает с напуском с невысокого песчаного обрыва, образуя и тень, и подобье укрытия. Олени плывут через реку. Большие, бурые, с костяным лесом на головах. Малыши посерединке, между мамаш, а вожак уже переплыл, первый. К нам идет, не оборачивается. Вышел из-за скалы, замер. Куст, за которым спрятались, не так уж густ. Еще шаг, уже неуверенный. Опускает голову, смотрит. Видит. Чуть не в лицо дышит. Вскрикнул, и нет его, ветка подрагивает. Аист кружит. Шея алая, как струя крови. И на крыльях – алые иероглифы. А это кто? Вспорхнул, длинноклювый, висит над водой в юбках горящих. Шахерзада? Кинг-фишер, вроде нашего зимородка. Присядем, передохнем.

Опустила взгляд на свою ладонь на песке, ногти надо б подстричь, подумала, и – рядом след, свежий, может быть, с полчаса, – тигр. Не леопард? – вдруг перейдя на шепот, перегля-

нулись. Нет, тигр. Странно, такое острое чувство, да? Куда ж оно делось через минуту? Будто мазнуло когтем и тихо поджало его в подушечку.

Вернулись к полудню. Лес к тому времени уже опустел. Ни шороха. Одни только цапли в вязком мареве дежурили у реки, как маленькие медсестры. Прислуга в отеле, похоже, тоже жила по этим природным часам. Наконец нашли одного из их великолепной семерки. Он спал на заднем дворе, сидя на шаткой табуретке. Это был самый продвинутый из них, который умел варить кофе. Круглые очки с надтреснутым стеклом на большой, явно переросшей его голове. Похож на защемленного во времени школьника, навсегда оставшегося на продленке жизни. Спал, две лимонницы вились вокруг него, играя.

Выпили кофе с тостами, легли в тень на газоне. Ты вспомнила сласти, те, ришикешские, в лучшей кондитерской, куда нас водил свами с... Как его звали, ученика его, брахмачарью? Да, Рам. Похож на Иисуса, на брата его, младшего, если б он был у него, помягче, в мать. Сласти переполняли витрины, глаза разбегались, тысяча и одна, рукодельные, в серебре, золоте. Сладкоежки, отцы семейств, припавшие к стеклу. А витрины тянутся в глубь кондитерской – от простых недорогих сладостей к шедеврам, симфониям. Свами переводил палец от одной сласти к другой, перечисляя состав. А Рам в белой долгополой ткани с широкими рукавами тихо улыбался в бороду, опустив голову, перебирая четки. Он сразу притягивал взгляд, но не ростом и красотой, а этим мягким незримым свеченьем, внутренним, необъяснимой женственностью, не физической, а где-то над драмой полов, там, где уже не нужен ни жест, ни голос. Он наклонился к тебе с улыбкой: больше одного рая не съешь ведь, да? Съела, за милую душу. И, как от солнечного удара, все поплыло в глазах.

А потом, в тот же день, мы поехали дом покупать. Чтобы жить навсегда. Это были уже третьи, что ли, смотрины за ту неделю. Рам впереди на своем мотороллере, а мы с Джаянтом на его новом, только что купленном опеле. И дорога, то есть эта козья тропа, петляет вверх по ущелью, теснясь меж домами, которые то и дело ее заступают. Рам машет, чтоб мы пропустили стадо ослов, навьюченных мешками с песком. Пастух подгоняет их палкой, сгрудились, тычутся в бампер, не разойтись. Потом и поселок кончился, Тапован назывался, «лес тапаси», когда-то был местом испытаний аскетов, дорога сузилась, становясь круче, втягиваясь в ущелье. Путь паломников к монастырю, который стоит в снегу, на вершине, слишком высоко, чтоб увидеть отсюда. Да, вон та точка, уже скрылась за облаком. Вот и участок – от ручья до горы, хорошее место, по законам Васту. Рам и Джаянт вернулись, а мы остались, чтоб оглядеться.

Солнце в этом зазоре стоит часа три-четыре, не больше. А в остальном – дивно: тишь, ручей, джунгли. Свами сказал, тигры наведываются, семья слонов тут поблизости зимовать осталась, слоненок не смог перейти гору. Вот эту, над участком. Давай поднимемся на нее, до того уступа с какими-то мексиканскими кактусами, посмотрим сверху. А себе свами присмотрел землю в полутора километрах выше по ущелью, дальше только тропа в завалах камней. Будем жить по соседству, на чай ходить под руку с обезьянами. Будем жить не тужить, по джунглям бродить, писать книги, спускаться к людям, и не ждать ни гостей, ни писем. Да, любушка, и ребенка родить, чтобы был счастлив.

Поднялись. Стоим на краю скалы, ветром пошатывает, ущелье внизу, на ладони. Оба почувствовали. Еще на подходе, подсаживая друг друга, вытягивая за руку из мшистых разломов камней: змеи, их царство. И то, что их не было видно, только усиливало тревогу. Ими было пропитано все, каждая складка воздуха. И эта душная тишь, чуть кислящая, обложная. Спуск был не из приятных. Норы, трещины, из каждой, казалось, мерцали глаза, фитильки трепетали. Ты вскрикнула. Между скалой и твоим животом взблескивал, подрагивая, длинный сухой чулок. Глянул вниз, там лежали еще два таких же. Кобра, королевская, метра два, не меньше.

Джаянт потом кивал радостно: да, да, хорошее место, у меня в доме тоже живет, но сейчас они спят, зима. А в сентябре наведалься, родила. Не надо бояться, они это чувствуют. А место хорошее, по законам Васту.

Вспомнили тот рассказ свами о кобре: вползла в дом ночью и ужалила роженицу, на девятом месяце, спящую, в лицо. Здесь, вон в том доме. А факир, знахарь, говорит: только в госпиталь не везите, нельзя ей вводить сыворотку, я все сам сделаю, я знаю, что и как. Не поверили ему, муж повез. А этот знахарь ему цветок дает, на мальву похож, и себе такой же сорвал, это наша, говорит, с тобой связь будет. Как телефон. Когда я буду говорить здесь в этот цветок, ты там, в больнице, свой цветок к уху поднесешь и будешь слышать меня. И вот лежит она в реанимации, в коме, а муж в коридоре сидит с этим цветком у уха. А факир здесь, за двадцать километров, стоит, окруженный людьми, и вдруг глянул на этот цветок в руке, понюхал и говорит: всё, ввели сыворотку, скончалась. И вот проблема, оживляется свами, как хоронить ребенка – вместе или отдельно? То есть как, говорю, отдельно – вырезать его из ее живота, что ли? Помолчал, улыбнулся: нет, конечно. Это же смерть от укуса кобры, а она священна. Как и невинность. Это здесь лучший удел. Таких не кремируют, а опускают в реку, как святых..

Джайни-чок, джайни-чок... Что ж это за слово такое, и не вспомнить, что означает. Наваждение. Джайни-чок... Да, я б тоже крошки поел, жарко. Райта, у них называется, на кефире. Пойду спрошу. Слушай, а где наш нож? Смотришь на пояс мой – пустой чехол висит. Там, в лесу, перед мостом, на обочине, когда орехи ели, ты его вынимал. Да, похоже. Пойдем поищем? Сейчас? Жарко еще... Пойдем, пойдем, тут ходьбы-то минут пятнадцать.

Идем, а я все прибавляю шагу, ты говоришь: да куда ты торопишься, – а я и сам не знаю, и предчувствием это назвать не могу, в эту сторону и не думал даже, иду, а сердце меленькой колкой рысцей бежит впереди меня. Вот это место. Блеснул в траве. Ну что, говоришь, пойдем назад, там уже крошку нам приготовили? Нет, покачиваю головой, давай немного еще прогуляемся, до затоки, да? Говорю и думаю – какой смысл, четвертый час, лес мертвый, ни звука. Это потом вспоминали, какая тишь – даже птиц не слышно. А тогда не заметили, просто жара, морок.

Идем, тихо с тобой разговариваем, о чем? Милую чепуху несем. Помнишь, какие чудные были имена у барбосов в прежние времена. Пиф, Трезор, Полкан, Джулька, Найда... Да, ты другие помнишь. Это как Битов об этажерках – куда они вдруг исчезли? А дед мой звал маму Джойкой, когда та была маленькой. А жену – Бобик. При том, что она была утонченной красоты, бледные сумерки, хрусталь, туберозы... Собирала в своей коммуналке богему тогдашнюю киевскую, застолья по средам, а он, дед мой, стоял, часами никем не замеченный, у печи, молча, грел спину. Она и вышла-то за него, не заметив, листая книгу... Бобик... Может, пыль надоело с них вытирать, с этажерок? Милая чепуха. И ты ловила мою ладонь на ходу легким хлопком, касаньем. И что ли не поднимали глаз, не смотрели вперед, на дорогу, да?

Я вздрогнул и сжал твою руку. Он шел навстречу, низко опустив голову и чуть раскачивая ее. Будто о чем-то думал, будто скулами терся у самой земли об этот душный вязкий воздух. Замерли. Только удары сердца, глухо, в грудь, в кость. Тигр. Ты вглядывалась близоруко. Я медленно поднимал бинокль к глазам. Он был уже в шагах тридцати от нас. По сторонам дороги – кустарник, сплошной стеной. Стоим, не двигаясь, смотрим, а он начинает исчезать – снизу, с лап, будто погружается в воду, исчез. Это рытвина на дороге. Бинокль у глаз. И вдруг – прямо в зрачки всплывает – всей головой, горячей, с тяжелыми желтыми глазами. Назад отклоняюсь и не могу опустить бинокль. Ты в мой пояс вцепилась и держишься, держишь. А он как из земли вырастает: голова, грудь, лапу занес для шага, медленно, помнишь, как медленно он поднимал голову? Будто уже знал, что мы стоим перед ним. И только вослед, как бы нехотя, поднял взгляд.

Надо бы в глаза не смотреть, мелькнуло. Или наоборот? Спокойно. Ты, судя по твоей руке, спокойна. Это не страх, нет. Другое. В упор смотрит. Чуть ошерен. Усы подергиваются, вверх-вниз. Ни звука. Будто тик такой. Мутно-желтые, а зрачки неподвижны. И какое-то мучительное томление у незримой черты. Он трогает ее на весу, лапой, эту черту. Клонит голову набок. Щерится, холка вздыблена. Ребра ходят, как тяжелый ковер встряхивают. И – не прыжок, не шаг, даже лапы не сдвинул, просто нет его там, где стоял. Хвост втянул, и сомкнулась стена. Сплошная стена кустарника.

Ну что, говорю еле слышно, все еще не поворачивая к тебе головы. Вперед, так же тихо мне отвечаешь. Вперед? – этого я не ожидал услышать. Идем, чуть касаясь земли, вслушиваясь. Странно, шепчешь, он совсем не такой, как рисуют или в кино. Жухлый, выцветший. Как под слоем пыли. Дошли до развилки, остановились.

Да, где-то здесь, в эту стену зарослей он скользнул. Протянул руку – густые, жесткие, спутанные, как проволока, даже ладонь не просунуть. И вдруг – отпрянул. А рука, казалось, еще висела, протянутая к кусту. Рык? Это и звуком не назовешь. Будто вспорол с головы до пят и сердце вынул. Нет, не страх – только тишь внутри, безжизненная. Сколько длилось, секунды? Как во сне или перед смертью. И отдернул руку. Назад, шепчу. Нет, не спиной, – лицом! Пятимся, медленно, еле земли касаясь.

Отошли на то расстояние, откуда его увидели, повернулись друг к другу, выдохнули. И тут же – в шаге от нас, из зарослей – рык, и следом еще и еще ближе... Назад, глазами показываю, назад...

Мост, деревня за ним, солнце садится. Да, ждал, затаившись, когда подойдем. А потом крался за нами сквозь заросли и ни одна ветка его не выдала. Обернулись. Вон он – у рытвины, стал поперек тропы, смотрит. Долгий взгляд. И мы стоим, не отводим. Твой лес, твой. Опустил голову, исчез.

Кажется, это еще не конец, говорю. Молчишь. Знаю, о чем ты. Встреча уже сбылась. Чего же еще ты просишь? Там, показываю на холм, я чувствую. Нет, говоришь, поверь, не надо...

Поднялись на холм, сели в зарослях, ждем. Олениха, из тех, бурых, вышла на луг. За ней самец. Она впереди, траву щиплет, а он тревожен, голову вскидывает, вслушивается. Лес замер, как нарисованный. И от этих ярких карандашей – еще зловещей. Идут – прямо к нему, к тропе, к рытвине. Я перейду, говорю, чуть правее по склону, а ты здесь побудь, смотри отсюда.

Перешел, спрятался в зарослях, вглядываюсь. И вдруг – рык, раскатом, и вслед за ним – краткий, глухой, там, внизу, в буреломе. И стихло. Чей? Не его. Не совсем. Но и не оленя. А как-то между. Если сложить в один, последний. Смерть. Да, кажется. Будто ею налился воздух, луг темнеет, пропитываясь, как бумага. Или это тень от облака? Тень. Встать, выйти? Жди, не испытывай...

И тут слышу – какой-то шум у меня за спиной, шелест в кустах. Замер. Медленно оборачиваюсь: ты. Не видишь меня, идешь. Взрзня... Взрзня... Зовешь, пошатываясь, спотыкаясь, слезы в глазах, а в руке – камень. Тише! – привстал с пальцем у губ. Села на землю, как подкосили. И эта улыбка бедная места себе найдет. Думала, всё, шепчешь, нет тебя... Подошел, сел рядом. Ну и что б ты делала этим камнем – била по голове его, оттаскивая меня? Киваешь, плечами вздрагивая.

Окрошка ждала нас в саду, почти выклеванная птицами, юшка одна осталась.

Наутро вышли затемно, до рассвета. Пересохшее русло, трава высокая, острая, продираемая, прикрывая лицо рукой, горы по берегам, но их не видно еще. Мохаммед-хан говорит: нельзя, люди туда не ходят. Тропа узкая, заболоченная, ты впереди, я за тобой, подсвечиваю фонарем. Прогалина. Топкая грязь. Следы. Копытца и птичьи трезубцы. А это что? Присела, разглядывая отпечаток лапы. Тигр? Да. Самка. С детенышем. Огибаем лужу по следу, он уходит в густой тростник. Стоим у кромки, чуть шелестит, сунешь руку и не видно ее. Дальше тропа раздваивается, выбрали левую, шагов двадцать и – топь. Вернулись. Вот тут и вошел

он в нас, страх. С которым мы, каждый по-своему, все еще молча, боролись. Шли, не давая ему овладеть нами. Там, у лужи, когда вернулись, – след, ее, поверх наших следов. Свежий, только еще набрякал водой. Может, сейчас стоит в тростнике за нашими спинами, смотрит, вся подобралась, готовясь... Надо бы резко повернуться, встретить лицом... Да, этого она и ждет, когда ты повернешься, теперь ты спиной к ней...

Солнце взошло. Свитера сняли, проламываемся почти вслепую, руки иссечены. То теряем тропу, то снова на ней, петлями. И ее следы петлями. То за нами идет, то навстречу, то поперек. Не намного хватило нас, да? Ладно бы напряжение, но эти приступы, спазмы, перед которыми ты бессилен, когда – вот она, приникла к земле, шаг тебя отделяет, ты это чувствуешь, прыжок... Не оборачивайся, не поддавайся. И еще часа полтора это длилось, пока выбрались. И ушли вверх по склону, непролазному, на весь день. А потом, уже на закате, спустились к обрыву, сели на кромке, свесив ноги. Пойма под нами, луг.

Вон там, говорю, мы шли этим утром, лет двести тому назад. Скажи: «и раз», и кидаю камешек вниз. И раз. И что? Это атака тигра – двадцать пять метров в секунду. Штормовой ветер. А еще что ты знаешь? Голова твоя у меня на плече, вымотались. Еще? Их рык затрагивает низкие, недоступные нам частоты, парализуя жертву. Краткий ступор, сбой волны. Пентагон этим интересовался, моделировали суггестивное воздействие на людей. Слоны тоже на этих частотах переговариваются. И кто-то в океане. Киты? Амба – у нас в тайге его звали. Значит, хана. Хан, Шер-хан. Шер – тигр. Амба – мать, на санскрите. Четыреста их осталось, амурских, на всю землю, и хана, мон шер. А бенгальских было сто тысяч – при наших дедах. Теперь – в двадцать раз меньше, за два поколения. И три вида тигров уже исчезнувших, навсегда. Туранский, который в Средней Азии был. На Руси барбом его называли. Купец Котов его описал впервые, в семнадцатом веке, кажется. Хорошая фамилия для этого дела. Аввакум житие пишет, Котов – барба, и Тишайший над ними. А Христос был десятилетним мальчиком, когда в Европе тигра увидели, в римском цирке. До этого, по Геродоту, тигры – почти мифические существа. Аватары ветра, который зеркальцем ловят. Особенно, разъяренных тигриц, у которых детенышей увели. Зеркальце, представь. Между Горгоной и Нарциссом. Да, а еще они думали, что и у слонов коленных чашечек нет, что ноги у них не гнутся, так на колоннах и ходят. Что-то я отключаюсь совсем. Может, полежим чуть-чуть? А Далай-лама речь о тиграх сказал, знаешь? Чтобы беречь их, не убивать. Так по всему Тибету костры запылали. Жгли шкуры, шапки, приданное невест, украшения, всё, что ценного было в доме. Изюм, все деревень подводы тянулись к райцентрам. Огромный костер, тысячи шкур горят, тысячи глаз глядят, поют. Горы, небо, снега. Представь. Он и не думал, Далай-лама, что так обернется. А может, это тигрица была, не тигр, вчера, в лесу? Самое время это выяснить было. Зашили нитками рты змеям, понимаешь? Простыми нитками. Сотни змей, в ящиках, в Шереметьево. Все скончались. В девяностые сплошным потом везли. Птиц, рептилий. Кажется, мелочь. А знаешь, какой оборот по миру? Второе место, после наркотиков. Почти полмиллиона слонов в год убивали в Африке, недавно совсем, при нашей жизни. Леопардов – сто тысяч в год. Принцесса Бутана летит в Китай, в багаже – двадцать два рога носорога. И дипломатический паспорт в руке. По три тысячи тигров в год, в семидесятые. То есть столько же, сколько всего их сейчас на свете. Ну тише, полежи спокойно. Шкуру снежного барса в советское время можно было обменять на двух баранов. Или сдать государству: четыре рубля семьдесят копеек. Этот вид уже, наверное, не спасти. На нашей планете тигры не водятся, сказал маленький принц. Не гуди так, я уже сплю. Блейк и Борхес о них писали. Оба в глаза не видели, книжники. Ну, по отношению к Борхесу это не деликатно. Не деликатно – что? Назвать ягуара тигром? А Киплинг? Злодеем изобразил, коварным и трусливым. Всё, замолчи немножко.

Держишь меня, обняв, почти на весу, над обрывом. Пятна вспыхивают на изнанке век. Весь этот долгий день. Горы, слоновья трава по грудь. Полудеревья с тихими каплюющими листьями. Хлебный, бражный запах. Все ближе, острее. Бежит, трубит, вскинув хобот.

Обмерли. А она постояла, глядя в упор, и вернулась к слоненку. А потом присели передохнуть у термитника, и вдруг у ног – полоса земли дернулась и рванула на низких лапах, в размашку стелясь по склону, – голова, хвост.. Кто это? – отшатнулась, прижалась. Предок наш, говорю, арий...

Вздрагиваю во сне, камешки сыплются вниз с обрыва. Женщина, говорил, глядя в ладонь. Между одной и двумя. Полторы, улыбнулся. И стер улыбку. Когда это было? Солнце садится. Главное – не уснуть.

Барка

Топ-топ. Лестница крутая, ступени высокие, он топчется, прежде чем прыгнуть, нет, спазит, сползает на животе, нащупывая под ногой ступеньку. Три года всего, уже три. Дверь приоткрыл, заглядывает. Делает вид, будто нет меня здесь. Просто лестница вниз, дверь, комната, «трюм» называется. Там, в полутьме, кто-то лежит, помахивает рукой. Мог бы быть и не папа, мало ли кто. Идет вдоль стены, пальцем по ней ведет, вроде волны рисует. Может, сделает круг и уйдет. И поди разбери, что в его голове происходит. Большая она у него, а тело худенькое. Что же в нем от меня? Брови? А глаза – ее, весенние, светло серые. Лён. Сын. Говорю и прислушиваюсь к этому новому чувству – зыбкому, легкому, льняному. Прислушиваюсь. Деда так звали.

Лёня. Нес его в ванную, голого, восьмидесятилетнего, по длинному темному коридору киевской коммуналки. За шею обнял меня, ноги поджал, юное тело, ни морщинки, и глаза озорные. В девятнадцатом веке родился, и прожил как-то так незаметно, что теперь не найти и могилы. Для кого незаметно? Для всех. Актриса, нервной несбывшейся красоты вышла за него, как выходят на минутном полустанке, чтобы вернуться в вагон, и не заметила ни его, ни себя с ним во всю их жизнь. Что осталось? Латынь, переезды, допрос у Петлюры, Калуга, чай с Циолковским, война, путь сапера, Берлин, чемоданчик с трофейными карандашами, резинками, ножиком перочинным, отрез крепдешина и незримая ширма, за которой он жил. Снится теперь, все чаще приходит. Коридор, похожий на ту коммуналку, он сидит, будто в очереди, хотя никого нет. Видно, долго сидит, годы. Что-то вроде приемной, на том свете. Трогаю за плечо, не оборачивается. Функцию жду, говорит, мне тут должны дать функцию.

Так и жил, и исчез – как какая-то вещь в доме, незаметная, примелькавшаяся. Или воздух, сквозь который глядят в окно. Лёня.

Ничто не соотносится ни с чем. Сын – Лёня – мальчик. Никакой связи меж ними. Она – Юлия – жена шкипера. Никакой. Я – здесь... Не выговорить.

Дважды он не рождался. Жизнь летела, танцую на нитке чуда. А где ее «завтра»? Дунет, и фьють. Да, сказала, падая из окна, внутри себя падая. Да, ты прав, и еще, улыбнуться пытаюсь, я ведь тогда не смогу тебе быть золотым помощником, черным твоим поваренком, да? Выскоблили. И опять он стучится. Вскоре, когда ненадолго расстались, она позвонила из этого богом забытого, отхожего городка *Ванцетти*, где оставила дочь с мамой. Голос спокойный, родной, но, как сквозь стену. Выскоблили.

Сколько ж их было, этих знаков, – на каждом шагу. Помнишь тех духовидцев, к которым случайно нас занесло? Что б вы ни делали, говорят, как бы ни уворачивались – будет вам сын. С необычной судьбой. Он уже здесь. Коробило от их доморощенной мистики, да и ты ведь испытывала неловкость. А потом нас подсчитывали, изумленные: у тебя одни двойки, а у меня девятки. И луна темная, одни мы тут.

Мой Взрослый, она говорила, и лет тебе – два.

Помнишь, когда ты оставила сумку в машине, а там был и паспорт, и деньги, и весь твой маленький скарб, а потом звонок от шофера: Вы – Взрослый? Это в книжке твоей было три номера: папа, работа и Взрослый. Он взрослому позвонил.

Так старалась не выдать себя, так тяжело его вынашивала – первого, «с необычной судьбой», и бледнела, теряя сознание, и глотала украдкой какие-то жуткие капсулы, а потом выходила: я крепкий, я мощный! Гордая моя девочка, смех и грех. А ладонь приложишь к ее груди – как у птицы колотится, разве с таким живут? И «родничок» в темени, не заросший, как у грудных детей. И такая обидчивость, помилуй боже. Насмерть, от дуновенья. Это с детства еще, когда чуть что – в шкаф пряталась и сидела там в темноте, в обиде. Еще и воображенье – на всю катушечку. Глаз не моргнул, а мир уже перешит, перекрашен, смотрит на эту подмену:

так вот оно каково! Щемь, боль, обида. И верит в эту картинку как в единственную реальность, и, как в огонь, ступает в нее. А воображение за занавеской стоит, вослед кивает: хорошо сработано! Сколько раз выносил оттуда ее, вся – как ожог. А потом обернется, охнет: Взрослый, что это было?

А однажды, где-то вначале еще, вырезала заголовок газетный и у сердца пришила к свитеру: «конец унижениям и страданиям», так и ходила передо мной, чуть что – пальцем указывая, молча, а взгляд – вверх и в сторону.

То есть стена, окно, стена, окно, а в окне – сиянье, воздух такой прозрачный, как на ладони всё. И опять стена. Там, где было окно. Только что в ней окно, а что стена?

Я, говорит, с тобой совсем другая, даже представить себе не сможешь, насколько не я. Отчего же, могу. Теперь могу.

Он идет на носочках вдоль стены по периметру, чуть приседая, будто танцует, а руки перед собой вытянул и что-то лепит из пустоты, дирижирует сам себе и бубнит нос. Лёня! Не слышит, делает вид. Лежу как отрытая мумия, как пациент, как центр этого круга, как папа, как егеря, который везде и нигде. И не разберу, что он бубнит. Будто на разных языках, и всё вперемежку. Может, и впрямь на разных? Чему же тут удивляться? В прошлый раз стал у стены, лицом к ней, и говорит: «Мамочка, если б ты знала...» И, помолчав: «Я плачу без слез». Сел на пол, опустил голову, и вдруг: «Es ist noch nicht das Ende», – это еще не конец. Встал, и пошел на носочках по кругу. Нерожденный. Дважды.

А потом долгий индийский поезд, сидим в тамбуре на подножке, свесив ноги, земля под ними плывет, и смерклось, нет ее под ногами. Нет ее, говорю, видишь, ничего у нас нет. Все, чем жили, ушло, уходит. Знаешь, где самое излюбленное место отчаянья? У корней счастья. Это Кьеркегор сказал. И еще говорит, что ад отчаянья – переход от возможного к реальному. Может, Индия для того и дана нам сейчас, чтобы найти выход. Так мы с ней говорили в том ниточном поезде на перегоне между двумя жизнями – исчезающей и еще не пришедшей. Но какой, милый Взрослый, ты ее представляешь, эту нашу другую жизнь? Не знаю, наверно, такой же, как и была – в небе, но только на долгие годы теперь, и уже на земле. Да, сказала, задумавшись, задача из страшных волшебных сказок.

А потом был этот маленький храм подземный. Просто развал валунов в лесу и лестница вниз. А там никого, землянка, алтарь, и вдруг этот садху, как из воздуха перед нами возникший. Стоит, полуголый, смотрит в глаза и беззвучно смеется, а все вокруг уже озарено огнем. И он что-то делает с этим огнем, перебирает его, полощет, нашептывает в него, передает нам, мы уже давно сидим с ним у алтаря на земляном полу. Корабль, он говорит, провозжая нас, корабль, огонь, камень. Да, говорю, когда вышли, еще ножницы и бумага.

А потом в новогоднее утро, на краю света по имени Какинада, ты сидела на подоконнике опутанной проводами гостиницы, похожей на трансформаторную будку или маленькую брошенную электростанцию. Из окна тянуло гарью и дымом от ночной пиротехники, еще взлетали последние петарды. Где-то за несколько кварталов от твоей спины, в рассветном мареве плыл океан. Сидела в той щемяще милой ночнушке в блеклую крапинку, обхватив колени, и смотрела на меня, вся светясь в ожидании, когда я проснусь. Кораблик, шептала, кораблик, и пальцем показывала на живот.

Этого быть не могло, как потом мы подсчитывали, физически этого не могло быть никак. Шли по улице, за руки взявшись, и улыбались, украдкой поглядывая друг на друга, как идиоты. Никак? – повторяли, идя по пустынному берегу вдоль океана. Да, непорочное, значит, никак. Как-и-нада.

Где ж я был тогда, тем утром, когда проснулся? Когда смотрел на нее, такую растерянную, родную, с этим пальцем у живота и вопросом в глазах? Когда выдохнул две эти краткие буквы: да.

Светилась: вот он – наш выход, путь, который он ищет.

Легкий поворот руля, притяжение какой-то дивной родины. Барка, помост, Юлия, мальчик ходит по кругу, еще не конец, говорит, это еще не конец.

Очнись, поговори с собой, с нею. Где ты – в мешке чудес? Ребенок? Ну да, конечно. Непорочное? Да, как водится. Индия, майя, лила, новогодняя ночь... А теперь – к океану, и уйдем с рыбаками на тысячу лет.

А потом, как он говорит, эти чудеса из мешка сыпятся на пол. И мир – лишь усмешка на устах повешенного. Еще теплится. О счастье, о кромке рая. О том, что нет в живых тех, кто любил. О том, что происходящее с нами и происходящее в нас живут в разных комнатах. И то, что мы называем своей жизнью, имеет отдаленное к ней отношение. О том, что прошлое открыто нам еще меньше, чем будущее. Что порой достаточно полушага, полуслова – и мы, не заметив этого, уже не на той дороге. О големах своих представлений, которые выгуливают нас на незримом поводке.

Големы, он повторяет, взбираясь ко мне на лежанку. Го-ле-мы, ему нравится это слово. Лег на живот рядом и елозит по покрывалу своей любимой игрушкой – саблезубым тигром. В одной руке тигр, в другой зеркальце, сближает их. В прошлый раз все ходил с зеркальцем, собирал отраженья, знакомил вещи между собой. Пламя свечи с ее тенью на стене, бушмена в раме с ручкой двери. Големы, говорит, и тихонько смеется.

Крупный язык, не помещается. Ничего, она думает, это пройдет со временем, справится. Да, жизненная задача – справиться с языком. Скипер, он говорит, я скипер. Лег щекой на мою ладонь, смотрит на меня и говорит: мамочка, если б ты знала... у меня каждая рука домой просится.

А потом тот зловонный роддом: берег, усеянный мертвыми черепаками. Они плыли сюда через три океана, а теперь лежат с пустыми глазницами, из которых течет сукровица, птицы кружат над ними и черные бродячие свиньи рвут мясо из полуживых. Тошно тебе, отворачивалась, пока я их фотографировал – слепых, кровавых, с приоткрытыми ртами. Мальчик наш рос в тебе.

А потом, в том маленьком заповеднике, куда и нога не ступала... Как же нас занесло туда? Сизая степь и ребристый залив океана. Марево, пекло. Два винторогих оленя стоят на коленях, скрестившись рогами, точнее, плывут в этом мареве. Пеликаны вдали, у воды, как прибор красноватый. Может, фламинго? Не разглядеть против солнца. И вдруг – нет тебя рядом, только ладонь в ладони моей по-прежнему. А тебя уже нет, выбыла. Слегла в себя, как в окоп. Что-то тебе примерещилось, тихий щелчок, и всё, жизнь сломана. Нет, не подвигом было тебя вызволять из этих химер. Чуть смысленности, нежности и терпенья. Но случилось – последнего не хватало. Оставил под деревцем с куцей тенью. Выложил банку консервов, нож, бутылку воды. Ушел. Выжженная трава, овраги. Вспугнул кабана с цветочным мотлохом на клыке. Вышел к берегу, черепаха лежит на песке: выклеванные глаза, улыбка безгубая, жизнь еще теплится. Сел рядом, с тобой говорил, все оглядывался. Где-то там, под деревцем, как слепая статуя, опрокинутая в траву. Ни встать, ни собрать рук. Или рыдаешь в землю, глухо, чтобы не слышал, держать удар. Нет, не тогда, годом раньше, мальчика еще не было в твоём животе.

А потом эти дикие племена в горах, обкуренные, полуголые, в тряпочной мишуре и железных обручах, стягивающих шею – от ключиц до подбородка. Яркие мужеподобные женщины и низкорослые мутные мужички с земляными лицами. Нож у горла. Как ты держалась отважно, маленький мой герой. Верила потому что. В меня, в нас, в то, что ничего не случится. Разве что инстинктивно живот прикрывала.

Нет, не буди его, пусть поспит. Меня, говорит, к вам тянет... тянет... Что ж ему снится – бублик?

Помнишь, Бубликом мы называли его, нерожденного. Почему? Кто ж теперь вспомнит. А потом, и уже повсюду, тебя наряжали, общептывали, обихаживали с этими милыми их церемониями, ритуалами, путь стелили, будущее прикармливали, гули-гули, нагуливали, ворко-

вали. Там, в Бенгалии, с ее культом матери, и потом в Ассаме. Ну а как от этого увернуться было? От той, например, старухи, которую под руки вывели откуда-то из стены в том доме, где мы гостили. Великой старухи, похожей на дым, который водил по тебе вдруг сгустившимся пальцем, и тихое, чуть хрипловатое пенье из дыма за ним доносилось, как угли, потрескивая, шипят. А ты на кровати сидела в шелках и цветах, омытая молоком с какими-то дивными травами, и женщины отошли от тебя и стояли вдоль стен, чуть пританцовывая и воркуя, как голуби на карнизах. Сидела, неузнаваема, с ладонями на животе, растерянно и торжественно. Замерла, будто боясь шелохнуться, чтоб не сморгнуть эту небыль.

Или потом, когда Кальян повез к агхори, проводнику смерти, чтобы он провел особую пуджу с благословеньем твоего живота. И мы опустились с ним в храм-колодец, и началось. Ты сидела напротив него, белей луны, или свет так падал (откуда, на дне?), а он все взметал огонь из воды и кривил нечеловечьим голосом это, так называемое уже, пространство, и швырял его в нас. А я, чтоб не видеть его лица, жуткого, иступленного, глаз не сводил с фигурки пса у ног Шивы, черного пса с инкрустированными глазами, поводыря на тот свет, пса Махакалы. Барбос, говорю ему, не разжимая губ, дай ей счастья, а мне... речь, наверное. А сыну – то, что меж ними. И как-то неловко вдруг стало за это «дай». Выбрались из колодца, идем к нему в дом ужинать, какая-то женщина подает еду и все поглядывает из-за ширмы, и вдруг говорит: мальчик у вас, я его вижу... А этот агхори как зыркнет через плечо, – скрылась, больше не выходила.

А помнишь тот маленький лес у самой границы с мифическим Нагалендом? Где, по слухам, едят людей. Как мы жили в тех непролазных джунглях и кружили по ним все дни напролет с запрокинутыми головами, прислушиваясь, ища хулоков – исчезающих серебрянобровых гиббонов. И нашли. Они летели по небу, чуть касаясь верхушек деревьев, перехватывая их руками-ногами. Собственно, руки-ноги их и летели, а тело – маленькое, как рюкзачок, едва поспевало за ними. И-йеху, и-йеху – пели они на лету, а мы бежали под их взволнованным неземным гомоном, запрокинув головы. И вдруг стихло. Просека, насыпь, узкоколейка. Сидят на верхушках деревьев, глядят на ту сторону, а там – как в зеркале – они же сидят на верхушках, смотрят. Одна семья, расколотая просекой навсегда. Не перейти им ее. Потому что они, хулоки, эти ласточки человекообразные, не могут ходить по земле.

Вот и мы так сидели с тобой потом, глядя с верхушек деревьев через просеку друг на друга. Годы. Не в обстоятельствах дело, а здесь, – показывала на сердце. А потом, прижав к груди мальчика, стала все реже к ней выходить, к этой просеке.

А в тот день мы лежали в траве под высоченным деревом и смотрели в бинокль на его верхушку, где мать кормила грудью младенца, черного, седобрового, а сама – в светло-охристой шубке, и лицо в гриме, как в театре Кабуки. Что-то жуткое было с этим младенцем, помнишь, когда на экране компьютера приблизили и отпрянули. Лицо старика, искаженное злобой и болью. Будто по швам все трещало в нем, и глаза с мольбой обращенные к матери, и пальцы скрюченные, впившиеся в нее. А она ладонью поддерживала его голову, глядя ему в лицо, а другую – прижала к своим губам.

В Индии, говорил тебе, надо его рожать. Ты упрямылась, у тебя был нелегкий опыт с первыми родами, с дочкой. С Марусей. Теперь ей двенадцать. Прикроет дверь и стучит палками, сочиняет. Двумя, например, карандашами по коленкам или по книге. Быстро стучит, ритмично, выстукивая коллизии. Аутистка, нимфетка, между куклами и Шекспиром. Тяжело рожала ее, лежала на сохранении, одна, муж тебя не навещал, а потом и совсем ушел – не прошло и полгода. Не отец он мне, говорит, нет его у меня, и стучит палками. А за окном – микрорайон в степи и зловонных лиманах. Ветер носит над ними ворон, как тряпье. Есть автобус – в сторону моря, а в другую – к целебным грязям. Говорят, поднимает на ноги. И еще от бесплодия, говорят. Юный Гоголь лежал в них. Что исцелял? Гоголь, с его паническим страхом всего хтонического. Лежал, схваченный вязкой горячей жижей, голый, черный, только лицо

белое, как посмертная маска. Бюст теперь в парке стоит, смотрит на тех, кто ходит. Это здесь отклонение от нормы – ходить. Курорт инвалидов, они прибывают сюда отовсюду. В основном молодые, в колясках. Тысячи их. Хорошо одетых мужчин и недвижных фарфоровых женщин. Цветы на коленях, улыбка, к плечу склоненная голова. И руки, вращающие колеса. А вдали – озеро с целебной рапой, в которой до горизонта стоят по грудь – те, кто могут стоять.

Туда хотела она, в эту Волшебную Грязь, домой. Разъехались ненадолго. Ребенок был на седьмом месяце. И вдруг звонок из больницы: плацента надорвана – шансов, похоже, нет. Голос спокойный. Видно, держится из последних. Бродил до утра по городу, господи, шептал, помоги... тебе видней.

Чудо случилось: врачи развели руками – такого не может быть. Сам починил свою лодочку, законопатил ее изнутри. Вот, на снимках. Да, звонит из больницы, смеется: услышал, что тонет, и давай толкаться, ворочаться, за несколько дней все уладил. Такой, говорит, у нас маленький капитан. Команда, правда, бедовая у него.

Месяц спустя я приехал к тебе. Степь, зной, ходим с тобой вдоль лиманов, вдоль безжизненной глади и гнили. Свалки дымятся, гарь, воронье. Руки твои лежат на животе, таком большом, будто там тройня. Нервничаешь, сроки давно прошли. И первые, и вторые, если считать от тех непорочных, и третьи – если врачам верить. Нелегко с тобой. И с собой не легче. Особенно, здесь. И еще особенней – с твоей родней. Семь человек в квартире. В тесноте, они говорят, не в обиде. Снял жилье нам неподалеку – конурка на сваях в старом саду, похожая на голубятню, с окном-иллюминатором. Родня насупилась. Но продолжала скупать, поджавши губы, этот казенный кошмар для новорожденных. А ты все сидела на краешке кровати, такая собранная и одновременно растерянная, поглядывая на часы, на пакет вещей для роддома, ничего ль не забыла, уже осень пришла, с веток падали яблоки, я лежал и смотрел на тебя поверх книги и возвращался к ней, кошка терлась о ноги твои и домой уходила, ты все сидела, ждала.

А еще мы любилась, помнишь? Я удивился: можно ли? Ты потянула меня к себе. Будто плыли в немного кривом зеркале. Ну а ему как было? Будто ломаются в дом?

Обедать ходили к твоей родне. Отчуждение росло. У них, у меня. За улыбками. А ты была между. Покачивалась. И домик наш, если долго смотреть в иллюминатор на ветви, елозившие по стеклу, тоже покачивался. Вдруг прислушалась, обернулась ко мне и тихо сказала: пора.

Вместе рожали, вдвоем. Врач была за стеной – там голосила роженица, муж сидел в коридоре, согнувшись, зажав виски. Ходили с тобой взад-вперед по пустынному залу: кушетка для родов, поддон с инструментами, шкафчик стеклянный, зачем-то джакузи, столик с весами, окно, синий упругий шар на полу, – наверное, чтобы сидеть на нем, тужась. Ходили, еще шутил, ты улыбалась, постанывая, на меня опираясь, вскрикнула, замерла, руки взметнула и в стороны развела, я за спиной стоял и едва их удерживал, выгнулась... Да, потом вспоминал: как на крестовине.

И вдруг тихо так стало, до звона. Солнце в окне, мы одни, он лежит у тебя на груди, щекою на кулачке. Маленький кулачок, в слизи еще, положил под щеку и смотрит – не на тебя, не на меня, а *между* нами – куда-то вдаль. И этот вербный белесый свет – там, за ресницами. И я держу тебя за руку, переводя взгляд с твоих пересохших, подрагивающих в улыбке губ – туда, где наша с тобой жизнь на кулачке лежит, смотрит куда-то вдаль.

Родня твоя подхватила нас на крыльце роддома – музыка, ленточки, речи – и увезла к себе. Шли недели, я видел только спящие спины, за ними – мальчика. Он кричал, покрываясь пятнами, безутешно, неисцелимо. Взял билеты, не дал опомниться, в Индии приземлились.

Все еще спит. Щекой на ладони. Рука затекла. Шаги. Вымокла. Видно, ливень там наверху, на палубе. Или еще что. Берет на руки сына. Ну как ты, спрашиваю глазами. Ничего, кивает, терпимо. Вышла, прикрыла дверь.

Пумпухар

Голые ободранные деревья воды выкатывались, бились о берег. Белый песок, такой белый, что синева над нами в глазах чернеет. А они катятся на тебя, на нас, кто? – бабы этрусские, пенными глыбами, сколами... Нет, это шкуры свалявшейся шерсти, внахлест, кто их взметает и рвет, где он, этот скорняк? Не оглядывайся, говоришь. На краю земли, времени, сил, сердца. И она стучит в твою грудь, изнутри, мокрыми кулачками, эта девочка, заблудившаяся в лесу, в себе, в книгах. И бежит, запрокинув голову, так размашисто и нескладно, как в долговязом счастье, эта женщина, изо всех чужбин бежит, изо всех мужчин, снов, слов, постелей. И разваливается, как изба горящая, рассыпаясь там, далеко, на глазном дне, – все, что было с ней, что звалось жизнью.

Где мы? Нас и в помине нет еще, а здесь уже все исполнилось – мир, книга. Край тамиллов. Сидят в послесловии, коротают свет, шахматы сочиняют, венки плетут, изобретают нуль, поглядывая по сторонам подростковым: север, запад... Тем же взглядом, что у этого косматого ключника у ворот. Храм Марса. Две пирамиды текут во тьму, между ними каменный лабиринт: галереи, дворики, пруд с отраженными в черной воде колоннами. Посреди пруда – башня с приглушенными сполохами огня в окнах, без дверей. И луна над нею. Узенький лоб, рытвины глаз, смазанные, тушь потекла, губы разбиты. Так давно, что и боли не чувствует.

Волны, волны... будто торжище их, этих ковров в пене. Куда ж им плыть, женщинам-арабескам? Берег пуст. И не скажешь, что это мир и что он создан. Он считает до одного и не знает ни два, ни больше. Одно дерево, одна лодка, одна часовня-крашенка. Кто в ней? Одна, вышедшая из ума, ведунья, горящая, как купина. Ходит с лейкой в руке, льет на стену. Один, не оглядывайся, там, вдалеке, буйвол трется щекой о землю, смотрит из-под дуги, как я беру тебя, смеющуюся, длинноногую, в тонкой сорочке, и несу в эти валяющиеся на нас небеса – первые, вторые, третьи...

Тишь. Храм заперт на ночь – тенью ключника в проеме двери. Он прислушивается к разговору, доносящемуся из галереи. Язык ему незнаком, тон взвинчен. Двое их там, наматывающих круги у каменного пруда. Одного из них он знает. Каждый год приезжает сюда. Свами из Ришикеша. Долго ее искал, говорит, эту библиотеку. Все сошлось – прошлое, будущее. Ездит теперь, обживает их, развязывает, подправляет...

Не оглядывайся. Нет дороги, которой мы ехали. Рисовые поля, туман на деревьях висит, будто они сучат туманы, нитяные, для полей в сорочках. Путь уваливает от себя, то в лесок, то в песок. Нет того узелка на палке – городка с храмом. Ключник тот облетел, как свет, голова пуховая спит на книге.

Услышав шаги, ты приподняла голову. Мы возвращались молча. Остановились у нашей двери, чуть приоткрытой, его была следующая. Уже светало. Тебе были видны моя рука на поручне и он в профиль, в багряной шали, с открытой грудью. Голова кардинала, как ты говоришь, настоящего на Гималаях. Борода клином, с проседью, концы усов подкручены кверху.

«Жаль, – говорю, – я ожидал другого». – «Другого чего? Меня? Разговора? Мира? Другого нет». – «Ладно, – время покажет, кто прав». – «Время – это ты. И другого у тебя нет. Останься и пройди до конца». – «С меня хватит. У каждого своя мера. Верись – твое дело, блаженное». – «Дело не в акаши. В конце концов, так ты это видишь сейчас. Пока болен собой. Выйдешь из этой клетки, тогда и поговорим». – «Может быть. Утром мы уезжаем». – «Все может быть. В этом мы не расходимся».

Ты сидела на кровати, обхватив колени. Ужас, сказала ты тихо, глядя перед собой. Зачем? Ты же всегда обходил с ним эти углы, не обострял. Умел отделять интерес к человеку, внимание к нему от своих представлений о жизни, не смешивать их. Особенно, когда он так убежден. Зачем? Тем более, мы в гостях у него, он вез нас сюда через всю Индию, к этой библиотеке,

чтобы нашли свои списки. Сами ж просили его об этом. Да, недоговаривая, что нам они не нужны, подыгрывая... Жаль, говорю, садясь рядом. Сам не знаю, как это случилось. Вгрызлись друг в друга, насмерть. А глянуть со стороны – идут двое вокруг пруда, мирно беседуют, ты бы видела... Жаль. Просто достали они – эти наперсточники судеб, этот банный туман просветленья... Подыгрывать, да, но в какой-то момент чувствуешь, что на тебя уже влезли с ногами и учат, как жить, дышать. Кто? От чьего имени? От Истины. От большой буквы. Вешают, лоснясь ею. Кому? Тебе, заблудшему. Мы уезжаем? – обернулась от окна. Разит, говорю, как хлоркой. Да, через пару часов.

Собрав вещи, вышли. У порога лежал маленький сверток. Два оберега – тебе и мне. И позолоченная фигурка Шивы из храма Марса. Я поставил к его порогу сандалии, белые, купленные на днях, когда мы были с ним в храме Солнца.

Спустились. Он сидел на солнечном парапете напротив отеля, ел сахарные орешки, читал газету. Обнялись.

Ом. Ом, – так неожиданно светло приговаривал он, прижимая меня к себе. – Берегите себя.

Оглянулись на повороте улицы, его уже не было.

Она стояла и смотрела на нас своими большими черными глазами, не отводя взгляда. Ни ты, ни я не заметили, когда и как она к нам подошла. Куда ни глянь – пустынный берег: песок и ветер, даже чаек нет. Лет двенадцать на вид. А может, девять. Скажи она дважды девять, мы б не поверили? Не приглядевшись – нет.

Помнишь ту старуху, уцелевшую в цунами? Она сидела на земле на корточках, как девочка, с прямой, звонкой спиной, обхватив ладонями смуглое, растресканное стекло лица. И одна из этих трещин, самая широкая и темная, шла поперек, внизу. Но именно в ней и был свет. Улыбка. Она смотрела куда-то между землей и небом, в сторону океана. Сидела так – пять, семь, десять часов, чуть покачиваясь, и смотрела, пока не садилось солнце. Сто семнадцать лет ей было в тот день, когда ее подхватила волна и, перебросив через деревню, оставила на земле. Так ее и нашли – в той же позе, сидящей на корточках, обхватив ладонями, с тем же взглядом. Помнишь, мы провели в их хижине день, ели с ними на земляном полу, с теми, кто остался жив, в основном мужчины и мальчики, потому что в тот час рыбачили, и волна, подхватив их лодки, перебросила через мертвых. Она лишь на миг сложила ладони у лица, кивнув нам снизу этой стекольной улыбкой, нет, не острой, а как то стекло, обсосанное прибором, и отвела взгляд – куда? – там, за плетнем, ничего не было, кроме мутно-теплого света.

Стояла в шаге от нас и смотрела. А мы, полуголые, дрожа, ты в мокрой сорочке, я в плавках, не знали, как переодеться под этим взглядом. Маленькое кухонное полотенце рвало ветром из твоей руки. Она не понимала по-английски. Только переводила взгляд с твоих губ на мои. Не то что не слыша слов, а как бы не замечая их. Звук, казалось, в ней выключен был. Смотрела. На то, как я курил, держа сигарету непросохшими пальцами. Еле зримым кивком дала понять. Дал. Закашлялась, выронила. Хина, – то ли сказала, то ли выдохнула с дымком.

Хина, звали ее. Или не звали. Кто, кроме нас? Легкое платьице ниже колен, настолько выцветшее, что не разобрать ни цвет, ни рисунок, какое-то водянисто-цветочное. Босые ноги, из тех, которым что посуху, что по воде, вольноотпущенницы, в садинах и в песке. Вроде стоят и вроде бы сомкнуты, но эта тяга меж ними, или ветер втягивает подол, будто они бегут. А она стоит, смотрит. Черные глаза вполлица, как из другой жизни, много старшей. Рот с тем же еле заметным выгибом, как у тебя. Длинные, во всю спину, волосы, черные, видимо, никогда не стриженные и не чесанные. Нитка ракушечных бус на шее. Твердые, как эта земля, бугорки груди под мятущимся платьем.

Стоит, смотрит, как ты переодеваешься и, за твоею спиной, я, пританцовывая, не попадая в штанину. Смотрит. И ничего не понять, что она хочет, ждет, видит. Ничего не понять по ее лицу. Стоит в шаге, почти неподвижно, но кажется, что неподвижны мы, жестикулируя, говоря, одеваясь, складывая вещи. Неподвижны мы, как в стекле, а она – живет, смотрит.

Ты рисуешь ей на песке – мой возраст, свой... У нее нет возраста, она не знает. Мать, отец? Покачивает головой. А живет где, спит? Здесь, похоже. Что – похоже? Она, похоже, и не опускала взгляд на рисунки. Стоит, смотрит чуть поверх твоей головы и чуть в сторону от меня. Где-то меж. Ровно так, чтоб ему поместиться, взгляду, между тобой и мной, не задев.

Идет за нами. Море гремит, ветер в лицо, с песком, белым. Лодки полузанесенные, сети, человек под лодкой сидит, шьет. Чайка, одна, стоит над ним в небе, машет, глотает ветер.

Пустырь. Впереди деревня, кустарниковая, хижины стелятся. На пустыре дом. Даже не дом – замок. Огрызок замка. Интроверт каменный, викторианский, врыт в землю, плющом обвит. Кто в нем живет – песок? Ни тропы, ни ограды, ни входа. Стоит, глядит в щель меж ставень: ребра грязи накатывают на берег, пальму мочалит ветер. Чувство такое, будто съемки мира окончены, декорации увезли. Все, что осталось, – дом заколоченный, берег, мы, девочка, летающий мусорок... За этим уже не придут.

Обходим с подветренной стороны. На земле, в тени дома, старик, спит, заложив руки за голову. Рядом лежит телефон, черный, середины прошлого века. Шнур тянется в дверной проем. Правительственная резиденция. Три многокомнатных номера с антикварной мебелью. Сумрак, скрипучие лестницы, высокие потолки. Уговариваем сдать на сутки, на больше он не решается, указывая на телефон. Звонят редко, последний раз еще прошлой осенью, но кто знает. Открыли ставни. Хина сидит на песке, под пальмой, смотрит на нас.

Там, говорю, во второй комнате диванчик кожаный. Позвать? Пусть бы поспала хоть раз по-человечески. И вода горячая. Хина, кричу, машу рукой ей. Поднимается, смотрит, идет – в обратную сторону, к океану.

Да, странно. А ладонь у нее, как песок, без линий. Что-то чертит там, у воды... Как те, в городке астрологов... Как это называлось? Ранголи? Эти мандалы у порогов хижин. Каждое утро новые. Только женщины их рисуют. Девочки и старухи. Согнутые до земли, стоят на прямых ногах, пишут эти узоры, всей улицей, пока не взойдет солнце. Белые чертежи миров, чуть тронутых краской. А к полудню уже и следа их нет – под колесами и подошвами. Надо прикрыть ставни, песка нанесло в комнату. А в первый день, помнишь, проснулись, идем по этим мирам, как по снежным узорам-улицам. Смотри, танцует теперь, кружится в этой мандале. Песок, ветер. Воображение, оно всегда торопится. Потому что самолюбивы. Это как в «Английском пациенте» она говорит сикху, лежа с ним: если я однажды не приду вечером, ты станешь меня искать? Он молчит, еще не успел ответить. А она уже дальше: а с другой стороны, я думаю, он весь день ищет, и хочет, чтобы ночью нашли его. Да, но это та же торопливость, с которой этот сикх читает пациенту Киплинга. Не так, говорит пациент, надо читать, а с той скоростью, с какой написано. Самоуверенная торопливость. Вот где человек убывает. Нет сомнения. Того, на чем человек держится. Сомневаться и... пробовать, делать шаг, не зная куда, как и не вполне зачем. Да, человек один рождается и умирает один. Это ясно. Было ясно. Теперь не так. А как? Думать туда трудно. Она говорит: когда рассказывала своим о свами, о том случае с укусом кобры и цветочной связью, они, говорит, смеялись: какой же он мастер, если ему цветок нужен? Да, и цветок, и тоненькая спичка, и ласточка, и красные башмачки. А без этой малости – и чуда нет. Оно и держится на этой нелепой нитке, спичке... А больше – ничего очевидного. Или есть? – быстрый глаз и улыбка лисья. Нет, говорю, что ты, ни нас, ни Хины. Не слышит, волосы сушит. Это как Кай, когда воинство тьмы шло на него, и он хотел Отче наш прочесть, но забыл слова и начал читать таблицу умножения, и это ему помогло. Да, говорю, нитка, цветок, шестью девять... А в «Бесах» Тихон, старец, пьет чай и бросает куски сахара горемыкам, стоят перед ним днями, ждут. Одному целый бросит, другому полкуска. И хитро так зыркает, дуя в чашку. А той тетке – две, говорит, головы дай, нет, пять, восемь!.. Недобро так говорит. И та берет эти головы, несет, покачиваясь, в три погибели. За что? – бормочет. И дьяк покачивает головой: этим бы сахаром монастырь кормить. А Тихон в спину ей: а чтоб сладко было!

– Здесь побудешь, – говорю, отходя от окна, – отдохнешь? Я схожу принесу поесть что-нибудь. Что б ты хотела?

– Да. Сходи. Что-нибудь.

У него лицо из тех, которые ты так любишь. От которых эта слабость в сердце. Знаешь, дни такие бывают, не то чтоб погожие... Чуть в дымке, тихие, тополиные, они как бы здесь и не здесь уже, застенчивая бесконечность... всего. Когда мир, как во сне, и свет пуховый. Когда время, жмурясь, вбирает свои коготки. И есть только дальние дали, перетекающие друг в друга, одна из которых – ты. Теперь таких лиц почти не осталось. Дни случаются, хоть и редко. А лиц нет. Тебе надо увидеть его. Чайханщик, его палатка здесь, на развилке, минут десять ходьбы. Дрова, очаг в нише, печет лепешки. Строгость в лице, но за ней ничего, кроме тихого, нежного света. И безысходной какой-то... доброты. Только нужно смотреть чуть в сторону, и тогда его видишь. И он так смотрел. Чуть в сторону. Когда наливал в полиэтиленовый кулечек чай с молоком и перевязывал ниткой. Вот этот, еще горячий. Катушка висит у него над прилавком, он тянет ее, не глядя, привычным жестом. Можно прийти и остаться – на дни, годы, на том ветхом диване в дальнем углу за очагом, две-три молчаливые фразы в день, больше ведь слов и не нужно. Лет шестьдесят ему. Лет шестьдесят, как исполнилось семьдесят, да? Мы видели их, эти лица. Немного женственные. Но не черты, а образ – как в близоруком размыве.

– Да, – говоришь, – я вижу его. Как дождь стихает, долго-долго, как письмо из дома... Ну что там Хина? Еще танцует?

– Нет, вышел, ее уже не было, узор замело...

– Попоил бы чаем, купил ей что-нибудь.

– Я и хотел, как вдруг – старуха...

– Какая старуха? Та, из часовни?

– Стоит, в меня смотрит, головой водит. Один глаз под стеклом, в другом пламя вспыхивает. Всё, спи.

– Нет уж, теперь опиши. Челюсть крокодила опиши, язык колибри, крылья стрекоз... в каком там рву, не помнишь? Миланском? Очки опиши. Были на ней очки?

– Да, янтарные, телескопические. Смотрит, волосы мои пересчитывает.

– А ты стоишь в этой нелепой позе, полупривстав, в одной руке кулек чая, в другой лепешка. Сядь.

– Сел. А она идет на меня, выгнулась вся, голова запрокинута, лохмы сизые, как хвойный дым, а глаз вперен; сверкнет, меркнет. Идет, жует воздух ртом, беззвучно. Один зуб во рту – верхний. Подошла к прилавку, головой водит надменной. Огонь горит, люди сидят-едят, чайханщик лепешки лепит. Скосила взгляд, смерила, отошла. С Хиной уходят.

– С Хиной? Куда?

– В глубь деревни. Вернулся, а она уже на песке под пальмой, одна. Может, она и не уходила...

– Может быть. Ты ведь не очень внимателен. К тому, что близко.

Лежишь за спиной, прижалась ко мне, в шею дышишь, все ровнее и глубже, спишь уже. Как же это так удается тебе? На полуслове. Ну спи, спи, а я немного еще побуду с тобой. Там, в Посаде, на мостке через Щиколотку, где бронзовая монетка на дне, стоит Павел, апостол, который у Дюрера справа от Петра, помнишь? Ты еще торопила меня, чтобы засветло мы успели вернуться в свою сторожку. А он стоит, будто нет его там, мятый хитон до пят, голова эмбриона, седовласая, блик на лбу. Откуда б? Ни луча над ним, рыхлое, обложное. Стоит, перегнувшись через перила, как в воду смотрит.левой рукой полу хитона отвернул, правой сучит из внутреннего кармана нить серебряную, как антенку, и губы приплясывают, как на ухабах: Павел, Павел, куда ты меня гонишь? трудно тебе идти против рожна? Прием.

Автобус гудит за рощей, китайцы гуськом идут, запрокинув головы, будто горло полощут. Под ногами иван-да-марья, маленькие ножки тридцать пятой династии, притаптывают, а те,

приподнимаясь с земли, на каблучок глядят уходящий, скошенный. Иван долговязый с лицом сиреневым, дымчатым, а Марья в желтой косынке, маленькая, до пупа ему, щекой веснушчатой льнет. Брат и сестра, голые, сросшиеся, смотрят вдаль, как те, поправляя головы, втягиваются в автобус.

Обернулся: нет Павла. Колодец стоит Параскевы. Купол и кружевной барабан в оборках. Будто она на траву присела, подобрав сарафан.

Дожди. Пишут и пишут, без полей. Гром глуховатый ходит кругами, водит впотьмах рукой по стенам, не найти выключатель. Старческий, глуховатый, нет детей. Молния ударила в Тютчева в годовщину смерти. Рылась огнем в усадьбе, на язык брала пол, мебель, двоих сотрудников. Демоны глухонемые на воздушных столбах сидели, глядя вниз на меловой круг горизонта, на мюнхенскую ратушу в водорослях химер, на непогашенное окно с рукой на краю стола, на гербовую бумагу в водяных знаках, на растущую строчку: *демоны глухонемые...*

Лисички, первые. Кеды, китайские якобы. Белый картофель, черешневишня. Квас посадский, трехлик. Пожалуй, всё.

Двое выходят из лаврской стены, там, где она утирает руки за спиной о заглохший сад. Блеклые известковые, в красновато-сизых цыпках, будто она стирала белье в ледяной воде. Двое выходят, друг от друга отряхиваясь. Один – расстрига в глиняных галифе и царском кителе в листве орден, другой погромыхивает у него за спиной, как узел дачного барахла на палке. Идут к Параскеве, на задворки, под подол. Оглядываются, вначале тот, с головой Пана, хмель улыбки, медовые пчелки глаз, потом другой, который на палке, выглянул из-за его плеча и пропал. Идет с ведром, как по воздуху, перебирая ногами. А Пан тачку ворочает за рога, вздувает жилы, звенит медалями, и ни он ее, ни она его с места сдвинуть не может. Пыхтит, глядит исподлобья поверх креста в небо, где тот с ведром пошатывается удаляясь как пугало, и птицы райские кружат над ним, будто все еще в том саду...

Лакокраска, остановка на выезде, утопленный в зелени поселок в семь двухэтажных домов, выкрашенных, видимо, из сливной трубы. Бурые, кабачковые, темно-морковные. Раннее Возрождение, обратная перспектива. Люди облущенные на заднем плане над крышами. Песочницы, детские горки, отраженные в окнах, пустынные. Облако рваное на поблескивающей ключей проволоке. Тихий чуланчик Венеции.

Дорога с цветочными бабабами борщевика, этих полевых демонов со вздутыми височными жилами и мутно-мясными глазами незрячими, глядящими ввысь, как в стену. Гермес на велосипеде с крылышками прищепок на лодыжках. Ястреб в небе водит четырех ворон, потягивая незримые вожжи – туда-сюда, и те жалобно стонут, озираясь на кучера.

Надо было и сметану взять. К лисичкам.

Ржут жалобно, бороня небо, а тот, в серебре, водит их, изводя, квадригой. Даль в меду и крови. В молоке и ягоде и в шерсти, даль медвежья. Нет имени у него, у этого русского Иговы, непроизносимо. Тот, который мед ест и девочек крадет, медоед, тихоня, лакомка-живодер. И встает во весь рост, и уд не виден. Косолапый архангел, шатун с трубой рева. Ты идешь за ним, вглядываясь в следы, а он за тобой по пятам.

Мотыльки на лампу летят в саду. Антоний, старец, пишет: «Не вступайте в брак с разводными». И ссылается на Апулея. Летят.

Кафка в крохотном картонном домике сидит, таком, что не разогнуться. А в окне, если прильнуть к нему глазом, – Замок. Сидит за столом, смотрит в зеркало, закрывает ладонью то правую часть лица, то левую, то губы, то нос. Странно, эти части не складываются в лицо, они от разных, незнакомых друг другу людей. Эти островерхие уши вообще не из этой местности, не людские. И нос – чувственный, сильный, прямой, не от этих губ с тонкой тропинкой детства. И глаза, как из застенков лица глядят, узники. Не из этой жизни. И тугая стриженная шапочка волос над открытым лбом, не из этой. Галстук, сюртук с нарукавниками, тишь в зеркале. Пять утра. Скоро идти в страховую контору. Он окунает перо в чернильницу, пишет: Китайская

стена. Задумывается. Встает, делает два шага от стены до стены, пригнувшись. Садится, пишет: Китайская стена в своей самой северной точке была закончена. Откладывает страницу. Пишет на следующей: то есть сначала стена, а потом башня. Смотрит в зеркало, отворачивает его. Рисует дугу в треть круга, замыкает ее пунктиром, доращивает над фундаментом стены башню, пишет: мы, китайцы... Откладывает лист. Часы на башне бьют половину. Дописывает на обороте: ведь человеческая натура в основе своей легкомысленна и, имея природу взлетающей пыли, не выносит никаких оков; если же люди заковывают себя в цепи сами, то вскоре начинают с безумной силой эти оковы трясти и разбрасывают на все стороны света и стены, и самих себя. Встает, задувает лучину, пригнувшись выходит, поправляя галстук на тонком горле.

Летят на лампу. Ладно бы мотыльки. Избушка наша стоит на своей тени, пошатываясь, как лунатик. Деревья зачехлены. Спи.

Ты сразу узнала его. И он, кажется, тоже, поглядывая чуть в сторону от тебя. Там эти взгляды ваши и встретились, чуть в стороне. И он все пранил молоко для тебя, переливая его из стакана в стакан, и смотрел куда-то поверх этих белых молочных струй, и улыбка в лице его была как ребенок, глядящий вверх, на любящего его отца.

Шли по деревне. Рваные, покосившиеся плетни. Хижины с земляными полами. Лица, руки из этих бобровых запруд. Стела погибшим в цунами. Мелкая рыба сушится, рассыпана по земле. Лодки на берегу. Волны тянутся к ним. Дотянулись к одной, утаскивают. Рыбаки кинулись в воду, отвоевали. Несут – как женщину – десять ловцов с одной стороны щекой прижались, десять с другой.

Объясняюсь на пальцах. Туда, мол, в море, с ними. Нельзя, говорят, шторм. Может, завтра? Утром выходят, возвращаются через день. Когда как. Миль пятьдесят от берега.

Представил себе. Волны, ветер, брызги, луна, зуб на зуб. Когда-то я плыл так, в другой жизни, со сломанной мачтой, почти под водой... Ты предвкушаешь, радуешься.

Идем вдоль кромки. Крабов тьма. Они носятся, упреждая узор волны, накатывающей на берег, наматывая его по-живому. А потом она рушится, заливая их, как матросов, прижавшихся к палубе, и откатывается: пуст песок. И вдруг – из него, как из трюмов, выскакивают они и носятся, раскинув руки с этими чемоданами, а гребень волны уже над ними... Сидим, смотрим.

Старик идет: красные лунги, торба, палка, во рту сигара. Замер, и – шась совочком ладони в песок, и отшвыривает на берег краба, тот падает на спину, как прыгун через перекладину. Кладет в торбу, попыхивая сигарой.

Возвращаемся. Солнце все шесть не может, путается в занавесках. Окно в часовне сверкнуло. Нет, свет зажгли. Идем по песку, темнеет. Воды не видно, одна пена, – скомканные простыни скользят на берег.

К часовне и обратно, домой, да? Да, кивнула. Дошли, стоим. Окно светится. Волн не слышно почти, за дюной. И ветра нет. Стена, проем, крыльцо видно, свет на него падает из окна.

Смотри, шепчу, смотри! Она стоит на крыльце, прижимая к груди ребенка. Вглядывается во тьму. Хина. С ангелом. Маленьким, светлым. Или это свет так падает? Уходит, прикрыла дверь. И окно погасло.

Не спалось. Что ж это происходит с нами? Может, душа – дьявол? Стоит коснуться ее, и она исходит кольцами. И чем сладостней, тоньше, нежней, тем губельней танец. Прости, говоришь, лежа во тьме рядом, вздрагивая, прости мне эту любовь к тебе. Всем телом, всей жизнью, – может быть, в этом дело? Нет, не светлое это чувство. Весь в ее власти. Каким ты себя не знаешь, не хочешь знать. Прости. Если и есть что-то, то у этого *что-то* и край есть. Только где он? Полбога. Во всем полбога. И в потолок смотришь распахнутыми, уже сухими.

Что ж так муторно, так безотчетно тихо в глазах, пальцах, слабость такая. Как ты сказала? Да, мухи по сердцу ползают. Да, уедем. Что-то с нами здесь происходит... Как слепое пятно. Как тот светлый ребенок в ее руках.

Встали поздно. Лезвие света меж ставен. Ветер стих, и волны, похоже, тише. Чайки на берегу, над кромкой. Кричат, бьются. Может, дельфина вынесло?

Пастернак снился. Сумрачные коридоры, тихие комнаты с высокими потолками. Как здесь. Бродим вдоль окон, и разговор длится, без слов, и не совсем меж нами. А как бы впол-оборота. И про себя. Кажется, время не то чтоб остановилось – идет, но тихо, в сумраке дальних комнат, не там, где мы. Провожает меня, лифт вызвал, жду. Хочу сказать ему что-то простое, сердечное, пожелать... Что? Куда? На тот свет, через этот порог? И он чувствует эту мою неловкость. Лифт уже подошел. Все хорошо, говорит из сумрака. Не волнуйтесь. Все у вас хорошо. И еще тише, вернувшись ко мне взглядом: только о форме надо подумать. Лифт, колодец, плывущие вверх этажи.

Какая-то нездешняя страна, говоришь, проснувшись, и я живу там годы, долгие годы, без тебя. Но самое страшное не то, что тебя нет со мной, а что я не могу вспомнить твое лицо. Вот ты, тело твое, руки, голос, даже запах – твой, а лица нет. И я смотрю туда, в лицо твое, как в песок, и не могу вспомнить.

Сходили к развилке. Автобус после обеда. Две пересадки. Может, три. Вернулись на берег. Чайки взлетели и сели рядом, посторонившись.

Черепаша это была. Большая, еще живая, с выклеванными глазами. Чайки тянули головы к нам, крича, подпрыгивая на месте. Жизнь еще теплилась в ней. Где? В этой струйке сукровицы, стекающей из глазницы к уголку приоткрытого рта? В этой лапе, увязшей в песке? Дрогнула? Или ветер песок шевельнул? Нет, не теплится жизнь, но еще ее не покинула. Ходит, как тень, в ней. Розовые пузырьки, вязкие, как икра, лопаются во рту, капают на песок. Смотрит пустыми глазницами на нас, присевших рядом.

Странно все это. Если верить, что ты есть то, в чем отражаешься... Или, что легче понять, и особенно здесь, верить в узор единый... Ты – эта вот черепаха, глядящая на тебя, ты – Хина, танцующая у воды, ты – тот ребенок, прильнувший к ее груди, ты – те дали, куда он глядит поверх очага, чайханщик, ты. Которого нет. Или нет почти. Как узор, ниточный, с пальцев на пальцы передаваемый, жизнь.

Они ждали, когда мы уйдем, птицы. Хлынули с высоты, как дождь стуча и скользя по ее панцирю.

Ближе к вечеру – как назывался тот городок? – на второй пересадке, пока ждали автобус, они все поглядывали на нас, эти двое глазастых школьников, и застенчиво отводили взгляд, улыбаясь друг другу, когда мы оборачивались. А потом повели нас узкими темнеющими переулками, говоря: коил, коил, – и добавляя на ломаном английском, что нам туда обязательно нужно. И уже в совершенной тьме, ткнув рукой куда-то вперед, зашелестели: спасибо, спасибо... Вам туда. И исчезли.

Где начинался этот храм и где оканчивался? Света не было. Только огонь, живой, блуждающий. И людей не было. Не считая ту тень, которая нас вела за собой по бесконечным ступеням на башню. Там, на самом верху, находилось то, что никак нельзя было разглядеть. Там, куда он показывал, отойдя и прикрыв ладонью, как от огня, лицо. Спускались спиной вперед, касаясь лбом и рукой ступеней, вывинчиваясь из башни, которую тут же заперли.

Еще находясь наверху, мы услышали эту музыку, она восходила снизу, как растение, оплетая башню. Как растение – с витиеватыми стеблями и тягучими, как открытые раны, цветами. А по другую сторону башни – рассыпчатые бубенцы, под ними висел человек на нитях, пританцовывая, плавно отталкиваясь от земли. Висел, прислушиваясь к напарнику, который дул в маленький деревянный космос. И был еще третий, между ними. Он вышел откуда-то из

стены, голый, покрытый, как инеем, сединой. Улыбнулся, сели с ним на пол у алтаря, заплетал цветы тебе в волосы, храм покачивало, как корабль, ночь, две, три...

Намасте, говорит свами, рад вас видеть. Как съездили?

Чай, сушеные фрукты. Рядом с ним ридер, тот, из акаши. Прижимает ладонь к груди, наклоняет голову: намаскар! Завтра мы с десяти.

Свами покачивает головой, кладет ладонь поверх моей: пойдём, говорит, номер еще за вами.

Барка

Люба, зову. Уже без голоса. Люба... Не отвечает. Ни на звонки, ни на письма. А прильнешь щекой, стоит, опустив руки, и тишь в ней такая, будто она не здесь, а за окном, и снег идет в ней. Стоит, терпит. Пытка близостью – тех, кого уже нет.

А когда им, этим птицам-носорогам, приходит время высиживать потомство, он ее замуровывает в дупле дерева, оставляя маленькое оконце, чтобы передавать пищу из губ в губы и вновь исчезать на поиски. И если однажды он не вернется, мало ли что случилось, она, конечно, и сама могла бы выбраться из этой темницы, но ждет, верит, гибнет.

Помнишь, книгу счастья хотел написать, и мы бы в ней жили – и в ней и снаружи. И книга была бы как сад, а жизнь как дом. И мы бы сидели с тобой на крыльце, одни на свете.

Мы и сидели.

Счастья. Прости, что я повторяю слова, мне надо их трогать, я ж ничего не вижу. Счастье. Какое-то затруднение тут в начале. А потом отталкиваешься и летишь. Летишь, падаешь. Падаешь.

Ты так любила фотографировать этих птиц-носорогов, выискивала их в джунглях, подкрадывалась, как ребенок, рот приоткрыт и вслед за взглядом струишься к ним, чуть покачиваясь, будто уже на земле не стоишь, вот, говоришь, ну вот же, показывая на экран, а я на тебя смотрю и глаз отвести не могу, и неловко так ежусь от этого чуда.

Да, книгу счастья. Нет такой у людей, не написана. А почему? Это понятно, мы с тобой знаем. А кому еще объяснять? Некому.

Значит, книгу, ни для кого. Без сюжета. Без всего, на чем держатся книги. Без читателя. Потому что, как же ему войти туда, быть, со-пережить? Ничего у него не выйдет. Это как с близостью, она меж двумя, и больше там нету места. А в счастье – даже того меньше.

Из чего ж она будет, книга эта, из слов? Но они ведь разной природы – слова и счастье. Разве? Или привыкли к другим песням. Даже не в этом дело. Надо чтобы сами слова испытали его, стали им. Сами. Как птица – небом, в нем исчезающая? Нет, не так. Как Адам, когда давал имена, а она, божьей милостью, читала их по его губам еще до того, как он их произносил? Нет ведь. Я знал их, помнишь? Помнила.

Что я мог знать? Но она ведь писалась, книга, самая светлая и пропащая. Ни для кого. Тебе, нам. От которых осталось теперь лишь зиянье. На том крыльце, куда письма слать.

Что ж, говоришь, мне ответить тебе на это счастье, на всю его подноготную, которая так болит, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. И особенно в декабре, когда все и случилось.

Кто говорит? Кому?

Среди ночи проснешься от голоса за спиной: спи с улыбкой. Обернешься – нет никого. Как свет сквозь годы. За которым нет никого. С ней и сплю. С ней, не помнящей губ, на которых спит.

Что же было в той книге? Куда они с нами ходили, эти слова? В невозможное. Улавливая координату частицы и ее импульс. Это волнующе ты говоришь, с затемнением. А еще? В лес, в джунгли. И счастливы были, как мы. Если это странное чувство и опыт, которому имени нет, называть счастьем. Когда, уцелев, возвращаешься к людям и не узнаешь их, не понимаешь, зачем они, и зачем среди них ты.

Вот и выходит – трижды ни для кого: о счастье, не слишком о людях и вполказания слов.

Значит, все кончено для этой книги – здесь, а там, за чертой, и не начато ничего. Вот и чудесно. Писал ее, помнишь, на том крыльце, и читал тебе, а ты слушала – и оттуда, из книги, и отсюда, из жизни. И белая тюль-арабеска, которую расписал кириллицей, дышала в проеме окна, и вдруг вскидывалась, выпрастываясь в сторону сада и нехотя возвращаясь на выдохе.

Я уходил, пока ты спала еще, за озеро, в сумрачную лесную топь, собирал тебе землянику, и все казалось, скользя ладонью в нежно узорчатой поросли и снизывая эти редкие огоньки, что за мной наблюдают немигающие глаза, змеиные, и пальцы мои слепые все ближе к ним, ближе...

Как же он назывался, тот цветок?

Я, говорит, работаю, все эти годы работаю, ты и представить себе не можешь, как тяжело – каторжно, внутри себя. Чтоб хоть какой-то просвет возник между нами.

Между какими «нами»? Этого не говорит. Похоже, и «между нами» тоже. Просвет, в этом лестничном спиральном тоннеле, ведущем вверх, на палубу. Там она и работает. Внутри себя. Выбываясь из сил, из ума, из сердца. А я здесь, во тьме лежу, как закладка в книге. Той самой.

Люба, шепчу, любя... Нет ответа.

Мы вмурованы в эту барку, чем бы она ни была, с узким оконцем меж нами – для губ, роговеющих, как у птиц. Может, это и есть наш ад?

Как же он назывался?

А потом кормил тебя на крыльце, ты сидела в ночнушке в эту милую цветочную крапинку, а на ногах резиновые сапоги, и день просыпался таким же немного нескладным и милым, в такой же туманной сорочке, с коленями зябкими и в сапогах. Тихий такой и счастливый, как ты, с земляничкой у губ.

А потом, помнишь, мы откуда-то возвращались, голым вспаханым полем шли, разговаривали о том, о сем, и вдруг видим – цветок лежит посреди этого черного поля. На спине лежит, в небо смотрит. Как Болконский. Взяли его вместе с горсткой земли, принесли на нашу ветхую дачку и посадили неподалеку от крыльца. Подпорку сделал ему из щепки и поливал, он ожил к вечеру. «Цветок мы станем звать Андреем, он нам ровесник по уму», повторяла ты. Вот трое нас там и было – ты, я и Андрей. И книга, которую по утрам писал, а на закате читал вам – тебе и тебе. Что ж это был за цветок? И куда он потом исчез?

Извини, ты работаешь. Не покладая рук. Это я тут лежу – в буквах, как в муравейнике, выведен весь, одна кожа осталась. И свеча в изголовье. И шаги твои – там, наверху. Ты работаешь, ты китаец. Черное поле, желтое море, большая стена.

Как быстро бегут дни, сказал вчера мальчик. Вчера? Когда ты ушла, и глаза закрылись. Где ж они, эти дни? Нет их здесь. Как птицы сидят, нахохлившись, на индийском деревце. Давление, видно, падает.

Как птицы. Как дни.

Мишенью для метанья ножей служила она. В маленьком городке на севере, в чужой стране. И как она там оказалась, неясно. Кто ее нанял? Сама? Может, не городок вовсе, а какое-то замкнутое пространство. Особенно, по ночам. Сумрачные интерьеры, во множественном числе, хотя стены-то всего четыре. Значит, они куда-то ветвятся, что-то должно там быть – за ними, какие-то выходы-входы, ярусы, коридоры. Но ничего не видно, сумрак. И тело ее почти сливается с ним, а лицо, чуть освещенное, – вполоборота. Из тех, в которые вглядываешься, утрачивая себя, тонешь, тонешь... и разглядеть не можешь. И никаких источников света. Ни от чего, ни от кого. И все же, где-то вдали, в глубине интерьера, сквозь этот матовый черно-серый просачиваются пятна цвета. Но это не он, а скорее, отблески воспоминаний. Или напротив: какие-то aberrации зрения, окрашивающие предмет с опережением узнавания. Или еще: будто лампочка вспыхнула и перегорела, а свет еще длится во тьме, плывет где-то с краю радужным нефтяным пятном. Может, она и не служит этой мишенью, но что-то там происходит между ножами и нею, какая-то связь. Точней, уговор. Стоит вполоборота, а они летят. Но откуда – не видно. Из темноты, из-за нашей спины, но не только. Не успеваешь заметить – уже летит. Из глубины интерьера. Или кто-то стоит там, незримый, во тьме. И не один. Просто стоят, смотрят, не двигаясь. А они летят. Странные траектории. Не прослеживаются. Я бы мог с ней заговорить. Она ответит. Но что с того? Роль у нее такая, хотя тут совсем не игра. Лицо у нее

глубокое, как море во тьме. Вполоборота. Видит тебя, держит, а смотрит куда-то в сторону дальней стены. Губы чуть приоткрыты, но ничего не прочтешь по ним. Такой уговор. Будто тонкий покров на лице из легкой тьмы. Не подходи, ничего это не изменит. Там ее место, а наше здесь. Будто она – одна. Одна из проекций... Или то, что имеют в виду, говоря: судьба. Наша с тобой. Да, Юлия?

Манора

Идешь, чуть не вписываясь в воздух, тебя овевающий, – немного от близорукости и немного от счастья. Как жаль, говоришь, что в Индии не был Гоголь. Присела на корточки, вполоборота к цветочнице, которая, казалось, росла из влажной юбки своего прилавка на голой горчичной обочине. Цветы оторачивали ее бедра, когда она чуть привставала, чтобы вплести тебе в волосы нитку жасмина, и снова подтягивались под грудь, туго спеленатую слюдянисто-солнечным сари. Возраст ее левой руки, казалось, не знал о возрасте правой. И обе они, по отношению к лицу – как лес за рекой – жили в другой судьбе. Но и в лице ее годы и судьбы бродили – каждый сам по себе. Седые спутанные волосы, будто вынесенные мутным течением в тихую темную заводь. Брошенное жилье глаз. Но вот угол света сменился, и в них – кипельные улицы, весь ее табор плывущих огней. Она поправляет свои белесые лохмы иссушенной землистой рукой. Длинные верхние зубы, выступающие далеко вперед, прикрывают едва ли не полподбородка, и эта не поймешь из каких далей идущая улыбка все покачивается, то приближаясь, то отдаляясь. Ты кладешь в ее ладонь пять рупий. В переводе на наши – минус деньги. Она кивает с легким наклоном головы чуть влево, тебе, и с тобой заодно – всему на свете, чего быть не может, да и, наверно, не было, если б не этот кивок головы. Да, маленький древесный Гоголь с женским лицом, сидя на пыльной обочине, заплетал тебе эти жасминные нити.

Манора, говорю, склонившись над картой и ведя пальцем по кромке Бенгальского залива. Вот, видишь? А почему Манора? Имя хорошее. Гудит, как ракушка. Ты снимаешь очки, дешевенькие, купленные на бегу, не глядя. Вид у тебя в них немного от классной дамы, когда та озирается в незнакомой местности – крадущихся кривоногих зеркал, например. Нет, говоришь, у меня имени. Да, твоим я тебя не зову, а другого нет, не приходит. Это и в литературе трудно – с русскими именами. Странно, начиная с прошлого века почему-то не приживаются. Уже у Чехова. Фирс, Тригорин... А имен не вспомнить. Иван? Сергей? С женскими – и того хуже: что за герой Лена, к примеру, Зоя? Пятятся, без вины виноватые. Вот и у меня, говоришь, нет. А Манора – хорошее имя. Сколько до нее, часов пять? Смотря на каком автобусе. И по прямой или козьими тропами? Часов пять по шоссе, но оно туда, кажется, не ведет.

Маленький городок с непроизносимым именем, в непроглядной стороне от океана и неясности в отношении всего на свете, кроме Маноры, до которой полдня езды неизвестно на чем и зачем. Вечер, жара спала – от сорока полуденных до двадцати пяти. Свет в городке отключили. Шли с фонарем. Две пегих козы стояли во тьме на задних ногах у городской тумбы, обдирая цирковую афишу, то приближаясь к ней с высунутым языком, то отходя, пританцовывая. Тень человека ткнула в черную стену воздуха: «Сурия». Мол, там – солнце, оно же кафе, – все, что мы поняли. В «солнце» пришлось протискиваться через заклиненную дверцу, дальше этот сумрачный лаз вел полого в землю. Рукава коридоров, глинобитные стены, вдали – зарево жаровни. Чапати, ты говоришь. И сизлер тофу. Это такой дымящийся разлом кочана капусты, нашпигованного дюжиной различных пород еды – шипящей, свиристящей, постреливающей в огне и дыме этого капустного Везувия. Вымакиваем жгучую лаву, текущую по разломам. Пепел, туф, соя, чревоугодный чад, фресковые помпеи на дне, уносят блюдо.

Вышли, свернули в проулок. Ворота, за ними храм, кажется. Тронули дверь, открыта. Двор. Темень. Свечи перед Ганешей в нише, едва теплятся. Пес пригибаясь бежит вдоль стены. Нет, крыса. Двор, как шахматная доска, а на ней фигуры, будто в разгаре партии. Фигуры в рост человека, но как бы сидят на корточках. Кобры. Каменные. Девятое января, полдевятого вечера, день рожденья. От стены отслаивается фигура. Гольй, будто рассечен надвое красной повязкой на бедрах. Ноги длинные молодые, а над ними – ветхая сухенькая голова. Приблизился, шепчет в плечо: тише, Кали спит...

Необъяснимо. Как «заколдованное место» у Гоголя. Но не огород, а весь край, как веко подергивается, смаргивая реальность. Манора.

Шоссе, проселок, слоны, разгребающие лесоповал, объезд, хижины, джунгли, автобус, взынувший в них, как пловец в водорослях. Манора? – спрашиваем у входящих, которые вроде как уже выходили, но те были с хворостом, а эти – оконные рамы в руках держат, и лица у этих, в рамах, становятся всё смуглей, и ноги всё плоскостопней, то есть движемся к югу, но почему тогда солнце справа, если оно восходит?

Шофер тормозит у хижины, выходит, за ним все, кто в автобусе, скрылись за пологом, а там – никого. Под шатром сидят, едят. Лист банана, на нем горка риса и полукругом приправы – топкими жижицами. Правой рукой есть, левая – от лукавого, под столом. Шофер первым доел, поднял стакан с водой, влил, не касаясь им губ, встал, ушел. В поле. Солнце за ним садится.

Сумерки, въехали в городок. Тот и не тот. Сюжетов всего четыре, говорит Борхес, не бывший в Индии. Черная корова с белым воротом сидит в асане посреди дороги, копытца на груди скрестила и смотрит поверх голов вдаль. Не сюжет важен, говорят индусы, а музыка нулей.

Вообразим робинзона речи. Фетровая шляпа, распахнутая шинель, бледно-сумеречное лицо, чуть светящееся, цвета крыла ночной бабочки. Сепия. Матовый, красно-коричневый тон. Оставим слепое пятно в памяти – где и как затонул корабль. Да и затонул ли? Разве по тем разрозненным фрагментам, вынесенным на берег, можно сказать об этом наверняка? Осмотрим остров. Нельзя сказать, что он безвиден и пуст. Как и назвать его мерзостью запустения. Хотя и то и другое было бы справедливо. Особенно, глядя на это вязко-тяжелое, как асфальт, море – во все концы света. Но и над ним встает солнце (вставало, будет вставать), потому и не скажешь. Хотя слово «над» кажется таким же обломком чего-то другого, большего, недо-вынесенного на берег. Как, например, время. Или человек. Этот, в куколке шинели. Он одновременно и здесь, на острове, и там, на палубе затонувшего корабля стоит. И в то же время все эти разрозненные обломки – лиц, птиц, речи, всплывающие, плывущие по волнам, выуживаемые из волн, – тоже он, его дом, остров. И небо над островом – все в списках кораблей – горит, как земля под ногами. В журавлиных списках перелетной речи. Длинноногой, нескладной, пернатой, безудержной, выросшей из одежд, колесующей воздух внахлест, взмывающей, падающей и вновь восходящей, – всем несметным народом слов ложащейся на крыло, вытянув шеи в *было*, *будет*, в *река называлась*. И начинается. Летящие по небу тракторные колеса с журавлиными гнездами, крыши, чернильницы, перья, брачная каллиграфия чернецов на снегу опрокинутой ночи, мир на ходулях, шаткие дети на костылях с запрокинутым клювом, свитки поземок, горящие корабли, дудели-дей, пропадет – растает... От красоты слепнут. Речь слепнет. Не только от красоты. Как птица летит над водой, глядя вглубь – на свою сестру, скользющую по ту сторону рыбы. Нет ни времени, ни людей, ни земли. Шар реки с островами. Остров гол и туманен, как глаз под задернутым веком песка. Он нашел две доски. Только две на всем острове. И скрепил их, как мастер, как плотник, как мог. И вкопал этот крест на вершине холма. Повернулся спиной, вниз шагнул, но не сдвинулся с места. Нет зрелища более странного, сказал Достоевский, чем вид здорового нормального человека. Это ты и распял меня, говорит он ему, плотнику, и висишь на кресте – ты. Здесь и нет никого, кроме тебя. В хижине – он называет ее сторожка; видимо, оттого что толком не помнит, кто он есть (был, будет). Видимо, оттого и обходит остров по ночам, представляя себя то сторожем в зимнем дачном поселке на последней станции тупиковой ветки, то мотыльковым островом, облетающим этот призрачный свет в сторожке... Мир ловил меня, но не поймал, – да, в хижине нет его по ночам. Но и днем на острове его тоже нет. Речь, без него, сама ходит, себя не стесняясь, в чем мать родила. То женщина, то мужчина. А то расступается между ними, осматривая себя, припоминая. То гоголем проплывет, то веничкой щелкает, то велеречиво расхаживает перед собой, взвинчивает горло, певчее, на разрыв, взметает себя, как кровь, и течет в песок,

тишью давится. А наутро встает с росой, садится на велосипед и катит по солнечной дорожке, вынимая из волн то ветку железнодорожную, то брейгелевский пейзаж, то Брокгауза, то сачки двухметровые на нимфею альбу, то фламандскую тучку, то плывущую бочку с Поприциным, то себя на цепи с затонувшей сторожки... И возвращается затемно – в тот язык, который нам только снится, – русский.

Манора? – спрашиваем у водителя. Автобус въезжает на площадь, конечная остановка. Манора, кивает водитель. Сквозь лобовое стекло мы видим того же зеленщика за прилавком, у которого на рассвете купили в дорогу немного фруктов и овощей. Он машет нам, выходящим, и стучит тесаком по дымящему самовару. Манора, говорим, разводя руками. Манора-Манора, вспеваает он во все свои тридцать три сверкающих зуба во тьме и, выхватив откуда-то из-за спины два стаканчика с чаем, ставит их перед нами.

Наутро, казалось, мы были готовы не совершать подобных ошибок. Карта изучена, труднопроизносимые имена поселков, лежащих, если верить ей, на пути к Маноре, усвоены, толковый портфель укрепил нас в реальности цели. Семь утра, автостанция, тот же зеленщик, автобус – другой. Мужчины и женщины сидят порознь. Над рядами сидений надписи – где кому.

Тебе не кажется, говорю, что кондуктор тот же, только свисток у него во рту – красный, а не канареечный, как у вчерашнего? Да и шофер похож, те же усы и рубаха, советская, в клетку. А глаза другие.

Из Раджастана? – оборачивается ко мне старик. Нет, из России. О, округляет рот, думает с минуту. Горький! – и протягивает авторучку: – Мать. Презент!

Ты сидишь у окна, солнечная сторона, свет на тебе лоскутный, глаза прикрыты. Ересь, говоришь, снилась. Битовская. Какая ересь? Он так и сказал, Битов, в конце сна: это моя ересь, битовская.

Солнце переместилось, теперь оно впереди. Автобус кренится на левый бок и клюет рытвины. Битком едем, а до деревушки этой, кроме нас – шаром покати. Теперь грозди висят на подножках, радостно-глазастые грозди, и у каждого – шариковая ручка в нагрудном кармане белой рубахи.

Кончилась деревушка, пыль за собой волочим, невод пыли, горчично-солнечный. Кондуктор в свисток поет – где-то там, в неводе. Ты кладешь голову мне на плечо, но ее потряхивает на ухабах, и ты шепчешь мне то в щеку, то в шею: самое главное, говорит, то, что в основе мироздания, – ген отклонения. Это Битов говорит, у меня во сне. Не было изначально никакого «многообразия видов». А был человек, и были у него: птица, рыба, змея, кошка, собака и дикий зверь. Рожденный с одним-единственным геном отклонения. И он становился родоначальником вида. А главная особенность творчества – апокрифичность сознания. Без апокрифов, с одними евангелиями, была бы только религия. И никакой культуры бы не было. То, что я сейчас говорю, подмигивает, называется битовская ересь. А потом, под утро, было еще: мы бежим с тобой – под небом, за мгновенья до ливня, – успеть. И вот он хлынул, и посреди стены его стоит женщина, огромная, страшная, с сумасшедшим лицом. Стоит и, запрокинув голову, смеется. И невозможно прекрасно это ликование, и ужас от того, чей это смех. Мы стоим, уже никуда не торопясь, под этим дождем, и смотрим на нее и не можем отвести взгляд. Вот как надо радоваться, говоришь ты. Не так, как мы.

Манора! – протискивается к нам кондуктор. Манора, Манора! – подхватывает весь автобус. Вскакиваем, хватая рюкзаки. Немцы? – спрашивает нас снизу вверх старичок в косынке из наволочки и съехавших набок черепашьих очках. Британцы, говорит мальчик, искоса не сводя с тебя глаз, и замирает, как бы прислушиваясь полуоткрытым ртом. Русские! – громко, как остановку, произносит кондуктор. Радостная волна перекатывается по рядам: русские, русские! С тем же чувством, с каким после родов встречают младенца: мальчик! мальчик!

Манора? – пытаемся мы разминуться с кондуктором. Он, сияя, покачивает головой, указывая нам на наши места, приговаривая: Манора-манора... Солнце опять слева. Когда? – спра-

шиваю часом спустя. Он делает успокаивающий жест ладонью, мол, не время еще, и, дунув в свисток, спрыгивает на ходу чуть притормозившего на повороте автобуса.

Едем. Справа – рисовые поля. Женщины бредут в поясах воды, разматывая их, перерисовываясь на ходу. И белые быки с расписными рогами по брюхо в воде бредут, и гребнем, впряженным в них, воду чешут, сами, без человека. Сидит под пальмой. Говорят, кокос никогда не падает на людей. Говорят, это дерево чувствует – кто под ним: человек, бык, собака... Ждет, пока отойдут, тогда и роняет. Хижины меж стволами, белье на веревках... Вон, смотри – океан! Нет, это воздух лег, как стекло, плашмя, там, за краем...

А вот как ты думаешь, вдруг говоришь, не оборачиваясь от окна, Розанов – добрый? Он ведь очень умен. А может ли человек с острым умом и зоркой памятью быть добрым? Да, говорю, наверно. Душа и ум не в одну ведь дудку дуют. А почему спросила? О Сосноре вспомнила. Он ведь... злой. В лучших своих вещах – злой. И чем злее, тем выше вещь. Или наоборот. Ну, ты понимаешь, я не о человеке, а о прозе, ее веществе, нраве. В русской литературе, кажется, такого не было, чтоб столько злости, как молний в туче, и света. Цветаева... Отвернулась к окну, глаза прикрыла.

Да, думаю, перебирая в памяти, – а с кем говорит он? С травой, грозой, солнцем. С лошадкой, псом, овцой. Людей нет: «низкий уровень психики». Разве что с мертвыми. А о ком пишет? О Тамерлане, Цезаре, о полку Игоре... Воинов пересчитывает, часовых расставляет, поит коней, чистит оружие...

Помнишь, говоришь, обернувшись ко мне (эта милая щелочка между зубами, с твоим мягким «ш»), как они называются, эти ритуальные площадки железные? Тронешь их пестиком – звон идет, а по ободку водишь, и площадка поет долго-долго. Вот так и слова у него – каждое с каждым, всей книгой. Ведь это не точность, не певчество... А – что? Вот когда душа отлетает или вселяется – этот сдвиг происходит, это прикосновение. В прозе. А стихи его для меня загадка.

Автобус тряхнуло, и он осел в яму. Радостно высыпали, подхватили, вытолкнули. Индийские танцы в салоне по телевизору возобновились. Главный ухарь, играя бровями, выплясывал, сужая круги к своей избраннице. Ватага его друзей разбрасывала руки и ноги во все стороны. Поразительно, мужчины, при их пластичности, в танце именно так пародийно-несуразны, этот по-детски угловатый экстаз свободных конечностей. Избранница их колыхалась, то прибавляя, то убавляя пламя. Въехали в деревушку. Все из автобуса вышли и, перейдя дорогу, сели в другой, в обратную сторону.

Двое стоят с тяжелыми музейными ружьями семнадцатого века. В форме, похожей на нашу военно-полевую. Хотя полностью они надевают ее не всегда. Достаточно метонимии. Штанов, например. А сверху может и пиджак быть, цивильный, с галстуком на голое тело. А на голову – вафельное полотенце, подвязанное под подбородком. Эта полуполиция, полувовенно-народная дружина располагается, как правило, на людных перекрестках так, что к полудню на них надета уже и парикмахерская, и харчевни, и полевые кухни, и скобяные, книжные и прочие лавки. К ночи на стихнувшем перекрестке горит костерок, на нем – котелок с едой, и у огня в отсветах – несколько полулежащих фигур. Ружья стоят шалашиком, их осматривают коровы.

Автобус отъехал. Остались мы и те двое. У офицера, что помоложе, табличка никелированная под сердцем: Гуру... а дальше фамилия – что-то гортанно-мифилогическое, типа Тируванантапурам. Или Бхагавадгита.

Манора, говорим. Заинтересованно не понимают. Достаем карту. В который уже раз, становясь заложниками этой сцены. Стоит индусу увидеть карту – и всё: можно вокруг Земли обойти и, вернувшись, застать его в той же позе, с тем же напряженным вниманьем в лице и пальцах на пути к просветлению. Показываю им Манору на карте. Кивают. А мы где? – спрашиваю. Кивают. Мы, говорю, обводя рукой, едем, показываю... И так далее, языком жестов. Гуру поднимает взгляд к солнцу, покачивает головой и вновь приникает к карте. Народ подтя-

гивается, карта уже идет по рукам. Наконец нас сажают в какой-то призрачный автобус, вдруг появившийся ниоткуда. Голубоватый свет, лампочные гирлянды, ни души в салоне. Аптекарь закрывает лавку, садится за руль.

Это был уже четвертый день пути к Маноре. Судя по карте, движение к ней мы всякий раз начинали верно, в ее сторону. Но потом, как-то исподволь, дорога выпрастывалась из направления и уводила нас в глубь материка, вместо пути к океану, до которого было всего-то рукой подать. Но эта рука-дорога все норовила куда-то за спину завестись, то заламываясь, то пытаясь нашарить там что-то во тьме, и, не найдя, возвращалась. В один из этих четырех дней мы даже нарочно отправились в противоположную от Маноры сторону, втайне надеясь разомкнуть этот круг. Городок Танджавур как раз приходился левой пяткой севшей на шпагат местности, правой была Манора, а мы ровно посередине. Добрались легко, как с горочки, и, что самое удивительное, это и был Танджавур. Возвратились к ночи, с горьким чувством.

Терракотовые крепостные стены, сады за ними, озерцо с лодками. Храм Шивы, кажется. В глубине сада, в простенке, стоит слониха, нерослая, распяленная цепями на четыре стороны. Метет хоботом красноватую пыль у твоих ног, смотрит в тебя и не видит. Нет уже места в ее глазах – ни тебе, ни боли, ни этому божьему дню. Так распяливают умалишенных на железной сетке. Мамочка, прошептала ты, покачиваясь, неволью вторя ее движеньям, пожалей своего бедного сына. Когда уходили, она была уже у ворот, в толпе, и под вспышки фотокамер машинально сажала себе на спину туристов, одного за другим, глядя вдаль, поверх крепостной стены.

Автобус трижды уже наполнялся и пустел. Ехали мы по каким-то щемящим краям: узенькая бетонка, по сторонам которой смеркалась безвидная земля. И смерклась. Ни огонька – ни вокруг, ни в небе. Кондуктор стоял за спиной шофера, облокотившись на его плечо, и смотрел в полосу ближнего света. Уже задремывали, как вдруг автобус резко вильнул к обочине и остановился. Манора, Манора, кричал нам кондуктор через полуспящий салон. Подхватив рюкзаки, мы кинулись к дверям. Все еще держась за поручень, я сделал шаг с подножки во тьму – земли не было. Напрасно я водил ногой, окуная ее то слева, то справа, то глубже. Не было. Кондуктор подталкивал нас, автобус уже трогался и скользил, казалось, по самому краю бездны.

А где, где Манора, повторял я, все дальше отклоняясь во тьму, как яхтсмены, свесившись за борт, где она, я вас спрашиваю! Кондуктор стоял с вытянутой рукой поверх наших голов: – Там!

«Там», когда красные стоп-сигналы истаяли вдали и наступила тишь и кромешная тьма, это «там» было везде и нигде. Мы на ощупь нашли рюкзаки и друг друга. Когда понемногу начало возвращаться зрение, мы различили на той стороне дороги какую-то будку. Перешли, ищем фонарь в рюкзаке. Ночевать здесь? Или идти? Но куда? Может, это единственный автобус – за всю ее жизнь, этой дороги. Где, я вас спрашиваю, посмеиваешься ты, роясь в рюкзаке, где Манора?

Манора? – вдруг произносит стена мужским голосом. Манора – там. И тишь. Голос был в шаге от нас. Там, говорит стена, нет ночлега, езжайте назад.

Включаю фонарь. Сидит в углу, на корточках, большая сидящая голова, очки поблескивают. Видно, годы сидит, седея. Голые колени у подбородка, руки сложены на груди, на плечах одеяло. Поднимается, берет костыль, переходит дорогу, машет костылем в слепящем свете фар, как в ореоле.

Там, оборачиваешься, входя в автобус, как они говорят, уже все написано, и подмигиваешь в сторону неба.

Та же площадь. Зеленщик спит на своем прилавке, спиной к самовару, еще не остывшему. Портье в отеле, из которого мы уже трижды выписывались и вселялись, зевая, протягивает нам ключи.

Всё. Завтра едем в Рамешварам, священный, смывающий все грехи. Два моря там сходятся. И капельный след островов, называемых почему-то Адамов мост, ведущих к Цейлону. Цейлон, шепчешь ты в эту тьму детства со сказочным кубиком чая, Адамов мост... неужели все это правда, неужели мы есть на свете?

Да, говорю. И ехать будем, кажется, через Манору.

Барка

Из песка эти стены – сыпятся, на зубах скрипят. И свод – то ниже, то выше, то вбок скользит. Как давно я здесь? Я, с которым так трудно теперь – быть, говорить. О чем? Кроме пути вспять по своим следам к тому месту, где нас не стало. Но его нет – ни времени этого, ни места, сколько ни вглядываться в наше с тобой прошлое, нет этого поворота, на который можно было бы указать пальцем: вот, здесь. Да, как с тем егерем – все шло хорошо, ничто не предвещало, но он хоть сорвался в ущелье, все же какая-то последовательность событий или ее видимость, а у нас? Вот мы – на одном берегу, а вот ты и я, уже порознь – на другом. Будто ничего и не произошло. Будто они незаметно для нас проступили из этого *мы* – ты и я, едва узнаваемые. Ты, Юлия, и этот человек, лежащий здесь, который все возвращается вспять по следам и не может понять – где, когда, почему. И чем дольше он кружит, тем больше запутываются, затаптываются следы. Это та тропа, по которой он шел когда-то или новая, проложенная им вчера? Память с душой играет – в обоих смыслах. А может, он (я) и не хотел этой правды, и потому кружил, уклоняясь? Может, место вовсе не там, где ломались копья потом, а задолго до, в самом начале? Но идти в эту сторону он не решался. Только начни разбирать, и от чуда ничего не останется. Как сейчас? Нет, с этим он не смирится, не примет. Все еще обратимо, пока он кружит, пока все еще есть этот источник света, пусть и не здесь, а на том берегу, когда он еще был собой, был с нею...

Где же он, тот первый камешек, покотившийся с обрыва? Разве его найдешь теперь под руинами, да и в нем ли дело? Держался, как мог, стараясь тебя не тревожить. И ты не то чтоб не замечала, но прислушивалась к другому, оно росло у тебя под сердцем – наше будущее. Прикладывал ухо к твоему животу, Лёня, шептал, любушка моя, Лёня, и ты поглаживала мою голову, улыбаясь. Слушал жизнь в твоём животе, а слышал то, что росло под моим сердцем – тихую тьму. В тебе жизнь прибывала, во мне она уходила. Помнишь того веселого бога, который спал с тобой на деревьях, сочинял дни и дарил имена, отмахиваясь от зудящих ангелов в том чудесном саду? Помнишь, он мог все на свете, и ты была счастлива с ним. Любушка, Лёня, теперь шептал тебе этот вдруг постаревший мальчик, в котором бог умер, не веря еще, что всерьез. И ты, закрывая глаза, улыбалась, не чувствуя, что происходит, будто ты еще в том саду, и я рядом с тобой, а в животе твоём – маленький взрослый, и все еще впереди.

Нет, конечно же, видела и пыталась помочь, но при этом думала: ничего, продержимся, он же сильный такой и смелый, выстоит, преодолет. И потом, ведь он понимает, что это опыт чуть ли не каждого мыслящего человека. Норма, а не исключение. Беда только в том, что с ним это случилось с таким удивительным опозданием. Целую жизнь умудрился пройти по небу, и вдруг свалился на землю, столкнувшись со всем, что обычно на ней происходит. А что происходит? Умирают близкие, уходят иллюзии, меняется взгляд на прожитое, приближается смерть. Что ж он, не знает, не жил или книг не читал? Все проходит, и это тоже. Да, бывает, дар отставляет художника. На время. Бывает и хуже. Но ведь есть и другое, и это как раз сейчас протягивает ему руку помощи: дом, семья, ребенок. Слава богу, есть куда взгляд отвести, а там, глядишь, развиднелось бы. Но он уже так далеко зашел, что не может выбраться, повернуть голову. Случилось то, чего меньше всего можно было ожидать. Все те светлые силы, которые помогали ему, он направил в эту открывшуюся в нем тьму, беду, бездну. Чтобы что? Дойти до конца, до сути? С той же одержимостью, с какой жил.

Нет, так ты тогда не думала. Просто видела, что не лучшая у меня полоса. Но, наверное, это естественно. После того подъема, который так невозможно длился, и счастье ведь валит с ног, и сила, не только слабость. Вдох, выдох. Поглаживала живот, прислушивалась. Перерождалась. И еще думала, в даль вглядываясь: может, и слава богу, что это пришло на выдохе – будет где переждать непогоду, да?

Но не в этом ведь дело было, совсем не в этом.

Степь, пекло, хоть ножом его режь, вымершие лиманы, времянка в саду, две кривые кровати, детское яблочко на выжженной ветке в окне. Месяц прошел, а он все не рождался. Лежали с закрытыми, притворяясь, что спим. Звонкой жердочкой была в Индии, смуглая, только глаза светились, а теперь лежит под простынкой, как Фудзияма. Луна в окне. Спишь? Нет, вздохнула, с тобой разговариваю, с тобой в себе. Встал, перелег к ней, нашел под простынкой ее ладонь, сплелись пальцами, тихо перебираем, как те паломники под Фудзиямой, замирая и восходя. Ветка с яблоком, прильнув, по стеклу елозит.

Там мой сын. Там. И отец рождается заново – там, в сыне. Пут – говорят индусы. Значит, и умирает. Дважды-рожденный. Год как умер отец. Там – смешенье времен. И языков. Толкается под ладонью. Там – гора Меру. На слонах, черепахе и рыбе. Покачивается. И несут ее, как в паланкине, на кривой кровати. Чашкой в меня запустила вчера, она все летит с нерасплеканной нежностью. Неж, нож... Может, она Иггдрасиль? Любушка Иггдрасиль. Дерево мироздания. Перевернутое. И читалы бродят по веткам, шелестят листвою времени. Здесь настоящее, тут прошлое, там будущее. Там. Тут, говорит, щекотно.

А потом я родился. В три индусика весом. Маленький папа. Помолчал немного, огляделся и завопил. Безутешно. Покрываясь пятнами, перерисовываясь, как изумленные карты мира в эпоху открытий. Дикая аллергия. На всё. На молоко, на людей, на небо и землю. Я его понимал. На меня он действовал так же, этот санпропускник преисподней. Я только внешне держался, а внутри стоял голый на кривом цементном полу в общей душевой, прижимая к груди узел с бельем, в очередь, вниз. Безутешен, – записывала санитарка. – Следующий.

Завернул его, двухмесячного, в тебя и улетел в Индию. Как панночка? – косилась на меня, подначивая. Да, моя радость, и Гоголь под мышкой. А малыш-то расцвел, как только земли коснулись, – кожа чувствует, где ее счастье.

Снял дворец махараджей над Гангой. На последние, с музыкой. Мрамор, пенье воды, подвесные сады. Маленькая служанка Пармила из лесных адиваси, вся в огоньках-колокольцах, молочник, спускавшийся с гор по утрам с кринкою для тебя, два садовника под балконом, без конца пересаживающие растенья, будто играют друг с другом в эти цветочные шахматы, бричка по вызову с доставкой продуктов, массажист с торбочкой благовоний и масел (вначале меня раскладывает, мнет, утужит, мантры гудит, а ты малыша баючишь, «развеселые цыгане...» – тихонечко напеваешь, а потом мы меняемся, и он на тебе играет, как на щипково-струнной, а обезьяны припали к окнам, сгрудились, смотрят), Оммм, Оммм, гудит он, завершая, и в конце – что-то похожее на «бля» выдыхает. Вот, чуть свет, в дверях застенчивый Феофан с бородой поверх кринки, потом служанка, танцующая с малышом на руках, а мы на балконе овсянку едим со всеми восточными радостями, осточертевшими, а она, Пармила, уже гремит кастрюлями, колошматит белье об пол в ванной, вывешивает над нами, щебечет, вспрыгивая на табуретку, плывем под этими парусами, мокрые, не увернуться, солнце встает над горой, костер разгорается у реки, первого понесли жечь, а на пороге уже – как его звали? – Омммбля, коврик раскатывает, сегодня с тебя начнем.

А там, за рекой, на пустыре – смотрим в бинокль – стучат молотки, ярмарка, цирк приехал, пойдем туда с малышом. Вот-те на, кто б мог подумать, ни секунды не может он в этом дворце, мальчик наш, до истерик, и сад его этот райский не радует, туда стремится – к индусам, на торг, на рынок, где жизнь кипит, в тот детский адик, раёк, лишь там он стихает, разинув рот. В рюкзачке на груди несем его, но только лицом вперед, иначе никак – горе: что ему в грудь глядеть, как в стену плача? Есть у тебя третий глаз? Да, вот – на груди, вперед смотрит. А первых двух нет, прикрыты. Так и передаем его по пути друг другу. Большой, тяжелый. Ванночку ездил ему покупать. На какой возраст, спрашивают. Пять месяцев, говорю, два набросив. Кружку протягивают. Да нет, что-то вроде такого – показываю им на пластиковое корыто. Это? – для школьников, улыбаются, покачивая головой, и маленьких женщин.

По улице с ним не пройти: каждый его норовит ущипнуть за щечку, коснуться, благословить – зеркальная благость. На второй сотне нервничать начинаешь, все еще кивая в ответ. Я, не ты. Ты, похоже, почти счастлива. Единственное, что беспокоит тебя – молоко, хватит ли для малыша, сцеживаешь, следишь, гадаешь – дотянешь ли до полугода хотя бы. Ни мяса, ни рыбы тут, орехи ношу тебе с рынка и всякую сушеную милость, ешь непрерывно, опустошая все, что видишь, молишься на грудцы свои – миро-точат боженьки. Вот о них ты, о Лёнке тревожишься и порывами вдруг обо мне, все же чувствуя, что не так и светло уж за этой моей улыбкой, заботой и суетой.

Значит, завтра на ярмарку, а сейчас – на лодке в сад к собачьему садху на чаёк. Где бы он ни был, со всех концов света собаки идут к нему на поклон, а он стоит – борода до земли, трезубец в руке, волосы по ветру, суров и страшен. Это они только знают, собаки, какой он ребенок, они и мы. Садится на землю, развязывает мешок, кормит их сладкими сухарями. Нежно берут, губами, потупив очи, по очереди. Дикае псы. И уходят в джунгли. А Лёнка на дерюге лежит под стеной, смотрит. Когда-то на этой стене я чаепитье зверей рисовал и вид на реку, которую она загоразивала. Чайханщик помнит, но при тебе он об этом не говорит. А тогда придвинул свой примус к огню нарисованному, и индусы подсели к нарисованному столу, а Шушелькума – вот как сейчас – то лист с дерева, то травку сорвет, в чайник бросит, так и чаевничали за одним столом – звери, люди, духи, пока стену не смыло в сезон дождей. Коровка прошла, Лёнку лизнула, бычок ее ждет на тропе, отвернувшись. Садху встает, взял трезубец, подмигнул нам, скрылся в зарослях.

А мы к портному идем, мальчик-непальчик ждет нас у подвесного моста. Будем ткань выбирать, наряд тебе шить – штаны и курту с пояском, вот бумажка, я начертил, он разглядывает, завтра к вечеру, говорит, примеримся. Из тумана медового шить будет, такую с ним нашли тебе ткань. А мне солнечную рубашку сошьем, это ты уже настояла. Потом обедать – в «Ganga view», по дороге Гопала встретить – три сестры в мешке за плечом, дудка под мышкой, бос, а кафтан – как куполок Блаженного, живопись! Я, говорит, снадобье тебе обещал от змеиною яда, вот, запускает руку в мешок, ищет, да где же оно, вытряхивает на землю трех молоденьких кобр, ты отпрянула с Лёнкой, а – вот, поднимает камешек, похожий на канифоль, это из их отпрыжек, говорит, потрешь в месте укуса, и всё пройдет.

Что-то давненько мы дал не ели, да? Или алу гобхи панир сабджи возьмем? С плеин ласси. Тебе два стакана, мне один. И сласти тебе, гулабжамун какой-нибудь. Нет, смеешься, только не это, от них я сознание теряю. По пути мы зайдем в музыкальную лавку к Раму, в дальней комнате у него ювелирка, камешки, я хочу купить тебе Ганешу на цепочке, маленького, серебряного, на счастье (он запропастится куда-то, а найдешь его почерневшим – там, в степи).

А потом я отправлю вас на бричке домой во дворец, а сам спрыгну на повороте и пойду по верхней тропе в джунгли за мясом. Да, по тропе неприкасаемых над обрывом – к той избушке в пуху и перьях, как в снегу. А внутри сидит мальчик лет двадцати, а над ним висит вниз головой козел лет десяти. Верней, полкозла, смотрит заплывшим глазом. А за спиной у мальчика – доморощенный алтарь: джаганнат, кришна, огоньки, цветочки. Намаскар, свами, – улыбается мне, складывая ладони, – две, как всегда? И выходит из избушки. Сейчас он вернется с двумя курочками, уже освежеванными. Худенькие, стройные, смуглые, мы их зовем «модильянки». Как же он успевает за две минуты поймать, ухлопать и снять с них все вместе с кожей? Вот возвращается из курятника, садится на пол на маленькой сцене под козлом, перед ним два таза, ноги босы, вставляет рукоять тесака между пальцами ноги лезвием вверх, берет курицу и начинает кромать о лезвие. То есть не начинает, а сразу заканчивает – скорость рук превышает способность зрения. В одном тазу требуха, в другом – мелко нарезанное мясо. Нет, уже завернутое в черный полиэтилен – чтоб не смущать праведных в поселке. В эту избушку ходит низшая каста – неприкасаемые и я, мать кормящая. Что делать – низменные потребно-

сти: белок нам нужен. А на Новый год была у нас заливная рыба под томатным соусом – в Харидвар ездил за этим кошунством, потом всю ночь его возводил, храм рыбы, кроваво!

Вернулся, а вы еще спите, то есть Лёнька, а ты лежишь рядом, скачиваешь нам на вечер что-то из National Geographic. Да, вот заповедник рядом, наш, Раджаджи, пару часов, и мы были б там, но идут месяцы, а мы здесь, в райском саду, в карантине, смотрим фильмы про джунгли, странствия, про нашу Индию, которая за углом. Ты чувствуешь, что я чувствую, но молчим. Потому что – куда же мы с малышом, в какие джунгли? Но ведь скоро обманем себя и пойдем. Лучше б мы это не делали. Или не лучше? Легкий поворот, притяжение дивной родины... Кто ж теперь скажет.

Проснулся и уже безутешен – такая обида у него на лице, губки ломает, обводя взглядом эти мраморные покои, слезы текут. Сейчас покормишь, и пойдем к реке. Или там, у реки, покормишь? Да, я пока в Ришикеш мотнусь. Что нам нужно? Памперсы для Гаргантюа, нашли все же этот юношеский размер в особой лавке, торгующей водным снаряжением. Потом коляску, которую присмотрели. Это эфемерное веселое чудо, совершенно не предназначенное для Земли. Оно препиралась не то что с каждым препятствием на дороге, а и со складками воздуха, и складывалось всякий раз самым неожиданным образом, выбрасывая из себя малыша. Ели б вместо колес крутились ангелы и успевали его подхватывать, а так крутиться приходилось нам, обмирая. Похоже, полотно ее было сделано из того же состава, что и крылья бабочек, а так называемые твердые части, стыки и прочее – из кузнечиков. В общем, она стрекотала, пела, порхала и вид имела сказочный, цвет преобладал красный, царственный. Да, порхала – в порывах ветра ее поднимало над землей и приходилось рулить в воздухе. Лёнька был счастлив. Сидел в ней в своей распашонке, расшитой свастиками, забросив одну ногу вбок, на перекладину. А мимо текли коровы, машины, люди, помнишь, обезьяна выхватила у него из руки банан, не испугало, смотрел вослед и смеялся беззубым ртом. Коляску мы отдали какому-то лудильщику, по совместительству коновалу и часовщику. Сегодня надо заехать к нему забрать эту насекомую катапульту, переделанную во что-то более-менее, надеюсь. Потом что? Да, кумла – килограмма три этой пахучей мандаринной радости. Блендер для овощей и молочных смесей. Потом к доктору в поликлинику – договорится о прививке для Лёньки, это вторая уже, первую тяжеленько перенес, ночью пальчиком над собой водил, жаловался, рисовал горе. Потом шарики надо купить, штук двадцать, надуть гелием, это на площади, у гатов. Завтра у нас маленький праздник, договорился с Джаянтом, а он – с погонщиком и тремя музыкантами. Утром раздастся дивная музыка – типа Кустурицы по-индийски, ты выглянешь в сад, а там – два ослика под нашим балконом и надувные шары над ними, а оркестр в кустах. Такой тебе будет сюрприз, и мы спустимся к реке на этих осликах, а музыканты будут шествовать впереди. Да, орехов тебе надо взять еще, ты уже все подмела. Так и ехал в бричке, а шары трепыхались над крышей, сошел у лодочной, а шарики отправились к Джаянту ночевать. Ты сидела у самой воды, пила чаёк-масала, Лёнька спал у тебя на коленях, на том берегу в Парматх Никетане уже горели огни, начиналась вечерняя Ганга Аатри, доносилось пенье, порывистый ветерок дирижировал слухом. Я, говоришь, в этом шитом тобой тумане буду выглядеть полной... Любушкой, я подхватываю, и целую тебя в кончик носа.

А к ночи я не дышу. То есть совсем не дышу, а ты немножко, и даже шевелишься рядом со мной, так и лежим, глядя в экран. А там этот неопишемый человек, если он человек (как же его зовут?), ты скачала все фильмы с ним, змеелов, но какой же он змеелов, таких не бывает: движенья его быстрее змеиных бросков, а взгляд такой, что эти твари, кажется, не выдерживают, отворачиваются. Бежит, хватает за хвост, ликует. Прыгает в воду с обрыва, вынырнул, держит за горло, плывет, как с фужером в руке. Но это разминка. Теперь он здесь, в Индии, ищет встречи с королевской коброй. Нашел. Пятиметровый самец, в летах, но полон сил, одним плевком он мог бы отправить на тот свет целое общество, но он не хочет связываться, уползает, не оборачиваясь, ему нет дела до вцепившегося в его хвост человека, он волочит его,

упирающегося, за собой. Но тот перехватывает руками, допекает, дразнит, и, наконец, этот исполин взвивается – броском назад – молниеносно – в рост – и замерли: глаза в глаза, так близко, что, кажется, меж ними и воздуху не проскользнуть. Я не дышу. А эти двое? Стоят, не шелохнутся, и считают каждое движенье наперед. Не совершая их. Как бы проигрывая партию в уме. Все комбинации. И это длится невозможно долго. Вот голова змеи чуть дрогнула, осела вниз – на йоту. Он медленно – глаза в глаза – заводит руку и опускает на ее затылок. А потом мчится в своей машине по хайвею и, ликуя, бьет кулаком по рулю: я сделал это, сделал, жизнь удалась!

Вышли покурить на балкон, а этот взгляд и язык раздвоенный – стоит во тьме перед нами. Лишь мгновенье терпел эту руку, и отшатнулся, но так, что того отбросило метра на три: живи!

Нет, тогда еще мы держались. Лёнька перекатывался во сне то к тебе, то ко мне, что-то трогательное бормотал, а мы плели над ним наши мостики свиданий из рук, шепота, тишины. Столько света в нас было еще, что казалось, можем жить и во тьме. Точнее, не в нас, а между, который стал нами. И Лёнька, и то, что прошли вдвоем, и может, задолго до, когда не знали еще друг о друге. Или знали? Я, говоришь, сколько помню себя, знала. Закрывал глаза и летел в колодец. Как ведро на цепи. А проснешься – снова эта чудесная мишура дня, от которой к ночи валились с ног. И разве за ней разглядишь, что в тебе происходит, во мне. Крутим это чудесное колесо во все наши восемь лап. Так светло, что в глазах темно. Но ты не заглядываешь вперед, ты вся в сегодняшнем. И мне говоришь: что ж ты глжешь себя из будущего, не гневи бога, он тебе этот день протягивает на ладони, этот, наш, а ты все норовишь за спину ему заглянуть, угадать, что в другой руке.

А потом придут ос выкуривать, страшных ос, стимфалийских. Что-то волшебное зацвело в саду. Амрита? И они за бессмертьем слетелись? Стояло зловещее желтое облако, в нем вили веревки они – из сада и из дворца. Мы пробирались в марлях, окна задраены, служанки нет, отлеживается с заплывшим после укуса лицом. Завтра в десять ангелы вострубят и откроют вентили на заплечных баллонах. Хорошо бы не быть здесь в эти дни осиногo апокалипсиса. В заповедник? Да, побродим вдоль леса, по краю, нет, не волнуйся, не углубляясь. Рисую записку молочнику, ты умираешь со смеху, глядя на этот комикс без слов. Тут ведь никто по-английски не говорит, кроме управляющего, но где он – разве что в телескоп различим в звездную ночь, а сюда спускается по субботам. Да, говоришь, представляю, как этот молочник будет в горах разглядывать с женой и детьми эту твою махабхарату, особенно, рис. 5, где он мне кринку протягивает – вылитый Грек, а я, как Рублев, в ночнушке, лютики – чудо как хороши. Взяли Лёньку, набросили марлю, пошли.

И уже не вернулись бы. Если б боженька нас не спас. В последний раз. Мы оба поняли это. Лес за нами закрылся. Оставалась неделя до отлета домой. Куда, в какой дом – у нас его не было. Ничего не было впереди. Но и здесь, в Индии, остаться ты отказалась, хотя могли бы. Столько сил ушло, чтобы добыть эту особую визу, которую можно было годы еще продлевать. Но ты спешила домой – к Марусе. Давай, говоришь, без резких движений, не нагнетай, все у нас хорошо, и потихоньку приложится. Без резких. Домой, к Марусе. Наверное, не только в ней было дело. Но после леса я уж не заговаривал с тобой об этом.

Приземлились в Москве и разъехались – ты в Крым, я в Мюнхен. Повидаем родных и будем искать пути, куда дальше жить. Я буду, а ты мне поможешь – немножко терпением, чуточку верой... ну в общем, тем, о чем вслух не очень-то говорят. Помню ли я твой голос? Да, в ту пору он еще не изменился, и слова светились твои по-прежнему. Звонки, письма. С утра до ночи и до утра. Мы ведь не расставались?

Сыпется, и на зубах скрипит. Как в той пещерке на острове, где мы спали когда-то, прижавшись друг к другу. Ты и сейчас здесь, за спиной лежишь. Да?

Дорога в Рамешварам

Три автобуса мы проводили взглядом и сели в четвертый. Ветер гулял, взметая желтые занавески, их было две в салоне. Одна рвалась из моих рук, другая обметывала ветхую девочку с седыми косами и худенькими смуглыми руками, сжимавшими поручень. Лицо ее было отвернуто к окну. Ноги не доставали до пола, босые. Лодыжки тонкие, птичьи, окольцованные. Погуливали ими в воздухе, семенила мелко. А лица нет, там всё – в окне. Может, всё то, что там, в окне, это и есть лицо ее? Этот необъяснимый, тепло-топленный, кисейный свет над полем. Свет покоя? Нет, он исходит не от пространства. Ничто этот свет не точит, не движет, не времени. Нет в нем ни утра, ни вечера, ни полудня. Он не прозрачен, как наш, аноним расстойный. Сквозь него не глядят, не берут предмет сквозь него – поле, небо... Может, это она и есть – аура земли? Как мутящийся ореол. Он и смотрит в окно – в эту ветхую девочку...

Это был самый пропащий автобус. Да и автобус ли? Уже час спустя, свернув на бетонку с развороченными плитами, он пробирался меж ними судорожными скачками, заваливаясь с боку на бок. Слева тянулась безвидно волдырчатая равнина в желтоватой мути, протампованная белыми цаплями. Где-то вдали лежал океан, но как мы ни вглядывались, его там не было. Справа – будто брошенный лазарет в бурых бинтах и плавнях.

Вот, отшатнулась ты от окна, но это уже не голос твой был, а эхо. В окне плыла бескрайняя улыбка индуса, плыла, пересчитывая свои зубы, плыла – вместе с его соломенной хижинкой и влажно-синим лоскутом неба, которым он размахивал, крича нам вдогон: how are you? Where are you from? Вот, видишь, прошептала ты, откинув голову и закрыв глаза, у него счастья во рту больше, чем снегов в России. И стихла. Я перелистнул страницу.

Два мальчика сидели на стенке набережной и играли в кости. На ступенях памятника, в тени размахивавшего саблей героя, какой-то мужчина читал газету. Девочка у фонтана наполняла водой маленькую кадушку. Торговец фруктами лежал подле своего товара и смотрел на море.

«Егерь Гракх», Кафка. Странно. Пишет поворотами головы. Техника кинематографа. Ни слова о цвете. Но откуда этот... нет, не монохром, но дейнековский, что ли, колорит? И потом: понятно, что мужчина сидит под памятником героя с саблей. Но понимание это чуть запаздывает: стоит некий памятник, рядом с ним некто размахивает саблей, и в пляшущей тени этой сабли сидит мужчина и читает газету. Смутное ощущение от этих четырех фраз, что люди и предметы не то чтобы поменялись ролями, но находятся в некоем процессе обмена: море лежит и смотрит на торговца фруктами; кадушка наполняется девочкой-водой; памятник, заслонившись саблей от солнца, читает мужчину с газетой; стена меж водой и сушей играет мальчиками в кости. Не то чтобы так, но какой-то сдвиг нарастает. И скорее, в воздухе между строк. Как в затишье с осевшим светом перед дождем.

Какая-то барка, словно перенесенная по-над водой, тихонько покачивалась... На носилках, очевидно, лежал человек.

Что происходит? Очевидно, мог бы лежать и не человек. А кто? Если бы одним из евангелистов был Кафка, какое евангелие было бы перед нами? Так называемое сверхъестественное у него, находясь перед глазами, в центре кадра, никогда не в центре внимания. Не вынесено за рамку и не в размыве, оно – вот, в центре, и его нет. А что есть? Обстоятельства, церебральные нити, видимо, исходящие от этого центра. Видна траектория жертвы, виден узор паутины, видны места разрывов и линии натяжения между жертвой и жертвенником. Бог очевиден, потому и незрим. Так, если смотришь на росчерки ласточки в небе, неба не видишь. Чудо – всегда здесь, оно открыто зрению, но – во второй экспозиции. Которая, если оттуда глядеть, – первая. Он оттуда и смотрит, а пишет отсюда.

Шагал, говоришь, автобус и рисовал это все детскими карандашами за двенадцать копеек. Десять тысяч лет. Потому мы ее и выбрали, эту дорогу. Но океан ее выбрал прежде: перемолол и сплюнул. Деревушки с тех пор – как раскопы, полузанесенные песком. И люди в ночной прохладе у хижин лежат в песке, как амфоры, и тихо гудят под тоненький ветерок. Лодок нет, только солнце и эти плавни. И жилье, разбросанное по песку: стена стоит, в стороне от нее лежит крыша, между ними очаг под открытым небом. Сидят вокруг очага, подоткнув ноги, душ двенадцать с голопузыми ангелами, ждут, на котел глядя, уворачиваясь от дыма. И автобус, уворачиваясь от дыма, объезжает очаг, останавливается над крышей. Двое подходят, жестикулируя, будто мнут ком глины перед собой. И шофер, из окна свесив руку, подкручивает этот ком ладонью, сплевывая бетель. Маленькие кулечки, целлофановые, с картинкой. Висят гирляндами в любой лавке, как комикс. Сыпет на ладонь, смачивает слюной, растирает большим пальцем, скатывает, как хлебный мякиш. А потом солнце во рту садится, красный закат, бурые плавни. Сплевывает, выходит. За ним – весь автобус, кроме детей и женщин. Скрылись за насыпью. Полчаса нет, час. Идут. Что-то несут, тяжелое, спеленатое, длинноствольное. Пушку? Пальму?

Егерь кивнул и провел кончиком языка по губам.

– Мой смертный челн сбился с курса: неверный поворот руля, мгновение невнимательности капитана, какое-то притяжение моей дивной родины – не знаю, что это было, знаю только, что я остался на земле и что мой челн с тех пор плавает по земным водам...

Спишь на моем плече. Взрагиваешь, постанываешь. Глаза полуоткрыты – туда, в пески. Якорь. Большой корабельный якорь они несут. Черный, с красными рогами. Втаскивают в автобус. Не входит. Разбирают полкабины. Заносят с хвоста. Шофер сидит теперь без лобового стекла, между рогами якоря. Веретено и хвост лежат в салоне между рядами. Трогаемся.

– И вы никак не связаны с потусторонним миром? – спросил, наморщив лоб, бургомистр.

– Я, – ответил егерь, – все время нахожусь на гигантской лестнице, которая ведет наверх. Я болтаюсь на этой бесконечно широкой наружной лестнице, оказываясь то выше, то ниже, то правее, то левее, и все время нахожусь в движении. Был егерь, а стал какой-то мотылек. Не смейтесь.

– Я не смеюсь, – возразил бургомистр.

Сальваторе, говорит она ему среди ночи, посмотри-ка на этого голубя в окне. Это при виде светлоокрашенного, едва ли не светящегося живого создания размером с петуха... Представить себе этот речевой период в устах очнувшейся ото сна жены бургомистра без некоторых размышлений не удастся. Каких же? Сальваторе переводится как спаситель. Он наместник Ривы (Рима?). В доме, куда зовет его голубь, лежит Некто. Лежит в челне, кочующем меж этим светом и тем. Ни там, ни здесь. Будто что-то заклинивает в цепи времен, этот защем с воспалением нерва. Не тот и не тот. Не спаситель и не бургомистр. Не Лазарь, не егерь. Не голубь и не петух. Гракх – птичий царь.

– Я все время нахожусь в движении, – сказал егерь. – Но когда достигаю максимальной высоты и уже вижу сияние верхних врат, я просыпаюсь на моем старом челне, безнадежно застрявшем в каких-нибудь земных водах. Стучит Юлия, жена икипера, входит и ставит к моим носилкам утренний напиток той страны, мимо которой мы в это время проплываем. Через люк в боковой стенке проникает теплый воздух южной ночи, и я слышу, как вода бьет о старую барку.

Так я и лежу с тех пор, как я, еще живой егерь Гракх, дома, в Шварцвальде, погнался за серной и сорвался. Все шло как положено. Я погнался, сорвался, истек кровью в каком-то ущелье, был мертв, и эта барка должна была перевезти меня на ту сторону.

Странная вещь, но в этого егеря веришь больше, чем в того, который бы сорвался в ущелье, истек кровью, и барка его отвезла на ту сторону. Да, несколько сверхъестественно, но бывает и так: неверный поворот руля, миг невнимательности капитана, какое-то притяжение

дивной родины... Конечно. Именно так и бывает. Труднее поверить, что истекают кровью или просто изнашиваются, как обувь.

– Я с удовольствием жил и с удовольствием умер; я радостно скинул с себя, перед тем как взойти на борт, грязное снаряжение, которое всегда носил с такой гордостью: штаны, сумку, ружье – и скользнул в саван, как девушка в подвенечное платье. Я лежал вот так и ждал. И тут случилось это несчастье.

– Ужасная судьба, – сказал бургомистр, подняв руку для защиты. – И в этом нет никакой вашей вины?

– Никакой, – сказал егерь, – я был егерем – какая же тут вина? Я был назначен егерем в Шварцвальд, где тогда еще водились волки. Я сидел в засаде, стрелял, попадал, сдирал шкуру – какая тут вина? На мою работу снизошла высшая милость. Меня назвали «великим егерем Шварцвальда». Какая тут вина?

Какая тут вина, – спрашивает Иов, Адам, Вечный Жид, Люцифер, Каин, – сидел в засаде, стрелял, сдирал шкуру. На мою работу снизошла высшая милость. А теперь болтаться на этой широкой, как море, лестнице – то выше, то ниже, то влево, то вправо, и биться этой мотыльковой баркой о свет – то тот, то этот...

– Я здесь не компетентен, – сказал бургомистр, – однако и я не вижу в этом никакой вины. Но кто же тогда виноват?

– Капитан, – сказал егерь. – Никто не прочтет то, что я здесь напишу, никто не придет, чтобы мне помочь. Вот уже не одну сотню лет мой челн – без руля, он плывет под ветром, дующим в самых нижних пределах смерти.

На шоссе въехали, европейское покрытие, трехрядная полоса, блестит под солнцем, плывет в мареве. Минут пять это длилось. Конец дороги. И ни признака жизни – ни до нее, ни вдоль, ни за нею. Может, это взлетная полоса? Для кого? Один автобус, раз в неделю. А потом, уже в чайных сумерках, мост возник – через весь океан, казалось. И волны под ним ходили в свалывшейся шерсти, мутными сворами. За мостом находилось одно их самых священных мест Индии – Рамешварам. Текущие во тьму пирамиды храма, горящие у его подножья джунгли улиц. Спустились к заливу. Крохотный пляж, освещенный косым морозящим светом чуть сутулого фонаря. В прибрежном накате плескались индусы: женщины слева, мужчины справа, меж ними дети – вспененной каруселью.

Что-то не так к ночи. Будто несет тебя от берегов. Случилось что? Нет, покачиваешь головой. Письмо. От Маруси.

Трудно тебе меж нами. Как оно сложится, где? Я же вижу, даже когда ты светишься вся, она в сердце твоём щемит, смотрит оттуда своими тревожными девятилетними...

Знаешь, перед поездкой я говорил с ней – о нас, об Индии. На кухне сидели, она пила молоко, поглядывая на меня поверх стакана, молча. Потом встала и, так искоса прищурясь в меня, сказала: «А вы бросьте на картах – на меня и на Индию. Карты не врут». И вышла с этим молочным полумесяцем на губе – стучать палками...

Сказал. Не успев прикусить язык.

Что? – поворачиваешься ко мне из такой дали... Нет, слава богу, не слышишь.

Акаши. В твоём списке судьбы – ее не было, дочери. Ни в прошлом, ни в будущем. Нет ее в твоей жизни, не записана. Как они бегали за нами по всей деревне, эти гардеробщики судеб, мол, номерком ошиблись, не с той вешалки выдали. А у нас – камень с души, и так вдруг светло стало, тайна вернулась, жизнь то есть. Только потом, в Пумпухаре, на том пустынном побережье ты вдруг опустила на песок и тихо сказала: а может, и правда, нет ее у меня...

Просохло. Только боль осталась. Как соль. Озерцо соляное. Ходит, лижет его, как оленок...

Знаешь, что меньше всего открыто нам? Прошлое. Не будущее, а то, что прожили. Вот бы что знать.

Рамешварам

Здесь, значит, летел он по небу, прижав к себе ее, Ситу, лучшую из невест, – правой рукой за талию, а левой голову поддерживал, чтобы лицо видеть. А где ж еще восемь рук его? За спиной сложил? Уговаривал, чтоб сама отдалась? Облик менял, комкал себя, демон, играл гордыней. И душу младую в объятиях нес. Ситу, Елену, Тамару. Туда – в райский притон, в зазеркалье свое, откуда Адам вышел. Над Заливом летел, домой, на Ланку. Да, минут двадцать лету отсюда. А там, в той роще, откуда ее умыкнул, осень. Жених ходит, ищет ее, дурные предчувствия, сезон дождей кончился, ходит по лесу, длиннорукий как Лермонтов, ищет ее, лес заговаривает, описывает. Как потускло золото, говорит, от радости и следа не осталось. Павлины, говорит, сложили свои ослепительные хвосты, запрокинули головы к небу, погружены в неведомые размышления. Опьяненная нежностью слониха неспешно обходит быков, и, разделяя их чувства, бредет за ними по лесу. Все стихло, говорит Рама, прильнув щекой к стволу дерева и прикрывая глаза. Волнение, шепчет, уничтожает человека, как потревоженная змея ребенка. А он летит, Равана, демон, прижав к груди эту кроткую, смертную, неизъяснимой красоты женщину, Тысячи лет назад, здесь, в этом небе, если поднять голову. Нет, это когда обезьянье войско вышло к Заливу, вон там, за мысом, и смутилось от вида бегущих волн, тогда про змею и ребенка. И Хануман, этот сын Ветра со шрамом на щеке, перелетел Залив и проник во дворец, где обессиливший после оргии демон спал в окружении наложниц. Они лежали вповалку, повсюду, в каких-то, казалось, нарочитых позах, едва прикрывшись – кто веером, кто тамбурином, кто россыпью цветов, и веки их притворно подрагивали, как во сне. И одну из них, лежавшую на возвышении, он, поддавшись ее красоте, поначалу принял за Ситу. А она в этот час у пруда сидела, венки плела. Плела, распускала. Крутись, крутись, прялица, пока не развалится. Это вор-ключник, умыкнувший хозяйскую дочь. И сжег город, и взмыл над Заливом, обернулся: горит, а они спят в огне, а одна сидит у пруда, плетет. Вот розмарин, а это анютины глазки, чтоб думать. Спутник летит, войско мост строит – из букв, из Рамаяны. Снимок НАСА.

Поел мусаки на обратном пути. Вязкое такое рагу из картошки, баклажанов и другой овощной всячины. Запил ласси, вроде кефира нашего. Вошел в храм. Но прежде – стоял у входа, смотрел странное. Длинная очередь у ворот – семят босые, с бидонами и узлами белья в руках. Входят в ворота и исчезают там безвозвратно. Обхожу храм. Другие ворота. Текут оттуда, мокрые, просветленные, с бидонами всклянь.

Джайни-чок... Джайни-чок... Что ж это за слово такое, а? Не помнишь?

Сдал сандалии в обувной гардероб. На каждую тысячу пар вьетнамок – сотня кроссовок и босоножек, и едва ли пар двадцать туфель. Жетонов не выдают. Голый до пояса, клинобородый архивариус в выцветших дхоти рассовывает обувь по ячейкам. В одну сует, из другой выдает. Как же он не запутывается при этих снующих тысячах? Мазнет по тебе взглядом и полдня спустя берет их с полки, не оборачиваясь на твой блуждающий указательный. «Обувь утопленников» вспомнилась, Сосноры. Но мелководье здесь. Нет рукавов света в глубь, нет трагизма.

Вошел. Как в кита Иона. Плиты мокрые под ногой плывут. Семеню в затылок. И в мой дышат, оскальзываясь. Кто? Цыганская мадонна. Чадо голое с хлебной коркой в руке, как со свечой, тожественно и глазасто. Чуть покачивает, как в пароме, этот валкий игрушечный поезд людей. Сортировочная. Перелесок колонн. Свет вдали, двор с колодцем. Крики, плеск. Два рыбака у проруби, ловят воду. Дрын с крюком, на нем ведро. Опустил в дыру, и танцует «яблочко», перехватывая. Череп брит, бедра стянуты полотенцем. Лет под сто ему, борода смотана под подбородком и подвязана бечевой. А второй – окатывает из ведра: мужчин – в упор, женщин – сверху.

Рама нес водяное зеркало над головой и глядел в отраженье, порождая взглядом и твердь, и хлябь, и свет, и трепетавшую в нем бабочку смерти. Крылья сложила, замерла, он покачнулся, выронил зеркало, вспыхнуло и разлетелось: осколками времени, сводами, двориками, колодцами, мытарем обуви, рыбарями... Чистилище водяное. И дети во тьме купаются, как воробы в лужицах.

Шел, скользя, за стену держась. Смотрю: сидит, под колонной. Свет со сводов сеется на него. Черный кушак, черная борода и глаза черные, жгучие, на коленях книга. Листает ее, склонившись. Зыркает на меня. Такой и зарежет, в книгу глядя. Кто? Рогожин! Глянул в книгу – картинки цветные, детские. И объяли воды меня... Вышел.

Здравствуй, зорька моя, любушка. Я так давно не говорил с тобой, не видел тебя, не держал в ладонях твое лицо, состарился за день. Но ты ведь всегда рядом, во мне, даже когда тебя нет со мной. Глаза устали, столько им здесь достается. А ты, девочка, за чью руку держишься, какого мира? Как фреска мелеющего, осыпающегося под солнцем. Ножом прорезан рисунок, канва, она и проступит, а краски истают. Я тебя вижу, как говорят китайцы, – ресницами, вместо нашего «здравствуй». Я тебя вижу маленькой девочкой на нетвердых ногах, невдалеке от едва различимой уже деревушки. Дым к реке тянется и ложится на воду. А ты за рекой, одна, на заросшей тропе к тяжелому лесу с сумрачно-прелым дыханьем. Он тянет тебя за веревочку этой тропы. Тянет и ты идешь. Голые ноги, так мило вихляющие между отвагой, обидой и страхом. Белые трусики в меленькую незабудку. И глаза, которые, похоже, намного взрослее тебя и уже безнадежно младше. Ходишь в лес, мокрый, сумрачный, на ветках сидишь, летчиком хочешь стать. И все б как у всех, или почти, с виду. Когда б не книги. К четырем годам все детские ты уже прочла, к десяти – две районные библиотеки, и уже на лесенке тянешься к верхним полкам, в городской. А когда твою голову разглядывал рентгенолог, все присвистывал, быть не может, не верил. Как они называются, эти роднички в темени, незаросшие? А у тебя – вся голова как такой родничок. И в ней – маленький постаревший Бетховен сидит, да? Но не книжная девочка, ты живешь в стороне от нее, чуть спотыкаясь об этот зазор между ней и тобою. Глядя на куст черемухи, под которым ты окуналась во взрослые тайны. Глядя на ту светлокрылую, уже подхваченную восходящим потоком птицу, и своей же рукой скомканную на лету: я еще нарисую... И, замешкавшись, не найдешь себя там, где была. Я тебя вижу...

В получасе езды от Адамова моста, автобус ждем, двойку. Идет, палку ест, сладкую, тростниковую. Скользкое лицо, дружелюбно-скользкое. И ладонь – пожал, будто деньги сунул. Костюм бесцветный, как огуречный сок. Смотрит с полуулыбкой, в сторону. «Чикен» закрыт. Ловит мой взгляд: чикен? Входим с черного входа, вынимает связку, подбирает ключ. Садимся на кухне, цокает яйца. Пять, десять... Ставит на стол. Чай заваривает. С имбирем? – спрашивает. Какая-то скользкая смесь в нем. Будто трое их там в одном: царек, лакей и картежник. Что-то нужно ему от людей, льнет. Как пух тополиный. Вот оно что – повар он на Гаити, две тысячи в месяц, женился там на двенадцатилетней, а другая жена здесь, в Танджавуре, с детьми. А в Рамешвараме – дядя его, хозяин этой харчевни. Поглядываю в окно, прислушиваюсь, где ж она бродит, спит, ест, встала на берегу, на океан смотрит, двойка?

Как ты остро взглянула, с мокрым жалом в глазах, когда я переспросил его: двенадцать? – про жену.

Девять осликов на перекрестке. Сосчитал. А коров – шесть. Две из них работают в паре: одна тянет с прилавка, другая продавца отвлекает, зайдя с тылу, тычась в чан. Третья маленькая, пегая, с козу ростом, хотя, видно, старшая здесь: стоит, запруживая движенье, отмахивается на все стороны от колес и ног. Четвертая – у стеклянной двери аюрведического массажа, смотрит. И два быка, сливовые, ходят по кругу, против часовой, карму разматывают. А осликов девять, каштановых. Ближний – жалобный, чуть покосившийся набок, вздыхает, воздух пощипывает. Второй – облезлый, пыльный, стоит, как чуланчик, прислушивается, прижав голову к ребрам: что там? А вдруг инструмент? Третий – под трансформаторной будкой стоит, точнее,

не будкой, а разлапистой башней, оплетенной проводами в искрящихся обмотках. Стоит под ней, думает. Видно, не первую жизнь. Переминается и опять замирает: почему – он? И почему – здесь. Судьба? Взгляд упирается в воздух, как в стену. У четвертого – полторы головы, стреножен с пятым. Двигается вскоком, чуть под углом к себе, как сломанный, деревянный, выпавший из карусели. Шестой булку стащил, бежит, палка его догоняет по воздуху, и на углу еще добавляют ему по ребрам палкой. Стал под деревом, лбом к стволу, с булкой в зубах, подрагивает. Двое подходят к нему, смотрят на булку, то так поведут ухом, то этак. Уши – как бурсаки на дороге. Ушли. Один замер на полпути, в лужу смотрит. Губы – теплой корочкой и горчат в углах. Оголяет зубы, разглядывает. Глаз обижен, косит. Что он видит? Закон божий? Он не то чтоб застрял на лестнице видов, но как-то стал ее поперек, как запруда печали. То к небу подымет глаза, то потупит. Будто он скроен из разных тел, судеб, полузабытых, уже ненужных. А девятый где? Сижу, чешу его за ухом. Прислушивается, сардоник.

Перешел дорогу, к лавке кондитерской. Сладкие страсти, семярусные. А что-нибудь не с кокосом есть, спрашиваю. Не с кокосом? – переглядываются, будто я произнес что-то не существующее на земле. Есть, говорят на всякий случай. Что желаете? С яблоком, говорю. С яблоком? – вздрагивают, обводя изумленным взглядом горы яблок на торговых лотках повсюду. С яблоком у нас нет. Перечисляю фрукты, которые у них за спиной, спелые, сочные, с дерева. Нет, повторяют они, нет, нет, все более настороженно. Беру, наконец, слоеный треугольник с необъяснимой начинкой, тяжел, как утюг. Осёл, тот, сардоник, кивает, хороший выбор.

Дом не нужен? – спрашивает сидящий на мопеде. Где-то я видел его лицо. Нет, я в отеле живу. Купить, говорит, недорого. С видом на океан. Поехали? Это рядом, минут пять отсюда. Сажусь, в одной руке пирог, другой его обнимаю. Едем. Где ж я видел его? Да, в день приезда, ночью. Это брат его был, когда я во тьме с осликом сидел, разговаривал. Тот подошел сзади, тоже присел, жильё предлагает. Пошел с ним, и ослик идет за нами. Как раз в ту сторону, где дома кончаются и жиденский перелесок тянется вдоль залива, вот этот, жалобный, с хижинами, полузанесенными песком. Включил фонарь, ведет по дюне. Вот, говорит. Крохотный простенок с земляным полом и тюремным окошком. За стеной – душ десять, не считая детей. Коридор общий, дверей нет. Света тоже. Ни кровати, ни стула, пол и стены. Сейчас, говорит, обустроим. Триста рупий. Хозяйка глаза отводит. Жулик, конечно. Хотя, похоже, и безобидный. Провожает меня до дороги. Там и встретили этого брата его, Марио. Еще подумал тогда, с чего бы такое имя? Может, я недослышал, не Марио он сказал, а маклер?

Дом, любушка, я нам выбрал. Будем жить. На тропе-веревочке к океану. Его, правда, не видно из окна, но если надстроить башню с винтовой лестницей, то и залив, и лодки, и солнце, встающее из воды. А по ночам звезды будем смотреть в телескоп, там, в башенке с круговым обзором, где будет у нас кабинет: стол, два стула, тюфяк, телескоп. А внизу спальня и большая гостиная с окном во всю стену – в сад.

На обратном пути искали с ним тень, чтоб присесть, неторопливо поговорить, но где ж ее тут возьмешь, тень? Вот Иона искал, где спастись от пекла, жался к сухому деревцу у крепостной стены. А Господь допекал его, провоцировал. Иди, мол, в город. Найдешь в нем хоть одного праведного – спасу народ. А чего ж Ты, говорит, Сам не пойдешь, – видишь, какое пекло? Дай тень, оживи дерево, а потом о праведных спрашивай. Иди, говорит, а то и его сожгу. Пошел Иона. Ни Господа, ни стены, ни города. Звезды морские лежат на песке, черепаха, искореженная корабельным винтом, рыбаки ходят по морю, лодки на поводках выгуливают, отмель до горизонта.

Сидим с Марио на рыбацкой сети, палочки в руках, на песке рисуем – дом, башню, цифры в столбик. Огород обсуждаем, деревья, свет, телефон, лодку, рыбу, сезон дождей, стекла, камни, огонь кундалини, другую жизнь и юридическую подоплеку. Пять тысяч долларов будет стоить он, кругом-бегом, мир наш. Еще с полчаса пожил в нем с тобой – зима, лето...

Нет, любушка, жизни тут. Зверей нет. Взгляд стелется над землей-водой, нет ему лестниц вверх. Песок, степь, карликовые деревья. И океан, как штаны приспущенные, до бедер. Ходить, собирать кораллы, рыбу в плавки, стоять у окна, глядеть в пелену дождя, писать книгу, любить... Стер, встал. Солнце село.

Ночью будем спасать ослов, да? Ночь Спасенья Ослов. Так я думал, сидя в парикмахерской, глядя в зеркало. Нож у нас есть. Ходить, резать пути, освобождать стреноженных. И булок купить, много, мешок. Мешок булок, нож и ночь – все, что нужно.

В зеркале отражалась та сторона улицы. Ослы уже стягивались ко входу в харчевню, известную им, видимо, из поколения в поколение. Ровно в девять вечера она закрывалась. Ослы начинали движение к ней изо всех переулков часа за два. Собравшись у входа, они переменились, обменивались кивками с чуть приподнятой верхней губой, и поглядывали в широкий дверной проем с голубоватым флуоресцентным светом, где, в уже опустевшем зале, мыли полы. К половине девятого начинался их медленный танец: они выстраивались в магическую фигуру вокруг пустующего центра и наращивали вращение по часовой. Детородное их достояние при этом росло, удлинялось. Затем наступал необъяснимый момент. Они задирали головы к ночному небу и тянулись к нему губами, будто дули туда. Полководец стоял на крыльце. То, что все еще продолжало расти из него, изогнувшись, двигалось вверх, одолевая ступени.

Глядя на это, я вспомнил маленький заповедник на юге Германии, в хайдеггеровском Черном лесу. В вольере – ослы, цвета сухого асфальта и ростом с обычную лошадь, и длинношерстные пони с мелированными пряжами. Носясь по лугу, ослы настигали и таранили свои жертвы, всаживаясь в них на всем скаку и едва не вздыбливая над собой. А те, крича беззвучно, грызли воздух разболтанными головами. А потом ослы, как досаафовцы, разминались на поле и отдувались, поглядывая на результат. А пони, как ни в чем не бывало, прихорашивались, глядя в зеркальце перед собой, и шли брать сахар с ладони.

Хорошо постригли. Не жарко будет. Руки у него певчие. У всех мужчин тут певчие руки – железо ли в них, огонь, вода, жизнь. А женщины? В гнездах сидят, вьют, не видно их. Узенький переулок, тупик. Три индуса во тьме корову моют. Грязью. Черпают ладонями земляную жижу и натирают бока ей, голову. Стоит, не жалуется. Была белой. Как Гоголь. И его в грязь сажали, в Крыму, в Саках. Лежал по горло в этой жирной мазутной рясе. Грязь горячая, на лице испарина. Исцелялся. Где-то до Мертвых душ, но, кажется, после Диканьки. Бюст стоит в санатории. А вокруг него по дорожкам парка церебральные инвалиды выписывают эллипсы на самоходных колясках. Едут сюда со всей страны – в грязь, а потом садятся на бесшумные никелированные самоходки и выписывают, свесив голову набок, эти эллипсы вокруг Гоголя. Какая адская мука была для него – лежать там, в грязи. С его маниакальным страхом всего хтонического. Писал ли он матушке? Или кому другому? Есть ли упоминанья? Сидел перед смертью, голый, в тазу, поджав колени, с пиявками на лице, белый, почти прозрачный, как утопленник или дух святой. Лужа миргородская, сакские грязи, римские бани, чичиковское колесо.

Демографически людей здесь все же больше, чем ослов. А коров, по сравнению с ослами, меньше. Коровы чтимы, а эти – плебс, изгой. Их не бьют, разве что палкой запустят вдогон, но ребра жалобные, дрожат, как заборчик. Странно, первое, что приходит на ум, думая об осле, – Христос. Хлев, Рождество, въезд в Иерусалим, осанна. Потом уже Апулей и Ходжа Насреддин. А почему на ослице белой, а не на осле он въехал? Цвет понятен, но почему ослица, а не осел? Видать, аллегория. А здесь их нет, кажется, не попадались. Как же они живут – без женщин? И что за этим стоит, какая драма? Спроси у них. У двоих, этих. Стали, в витрину смотрят, переговариваются ушами: простыни, наволочки, пододеяльники, на всем ОМ вышито. А по-русски прочесть – почти ЗОЯ.

Стучал в отель, поздно уже, часов одиннадцать. Ключник спал на полу под шалью. Похож на Ганди, если б тот дожид до его песочных. Йодистый череп, тростинки ног. Высушенный кузнечик. Ведет к лифту. Пятый этаж. Двор колодцем, в нем пальма. Нижние ветви мажут по

окнам, верхними в небе обмахивается, над крышей. Уснуть не мог, она все скребла, елозила по оконной решетке, лезла в комнату. Ставни закрыл. Стучит, царапает, бьет наотмашь. Взял нож, распахнул окно, ухватил, подтаскиваю. То отпрянет, то вдруг слабеет, льнет – на, мол, режь. Белка с неба скользит по стволу, села, смотрит. Светло уж. И сомнительно. Четверых этой ночью спасли. Распутали, дали булок. Теперь, наверно, они будут ходить к той скамейке, губы тянуть к незримой руке, вздыхать, глядя под ноги, годы, жизнь. И все та же ветка в окне будет биться в решетку желтоватой культей, годы, жизнь. А меж ними что? Ты, перочинный швейцарский ножик.

Лежал на краю, смотрел во тьму на спираль, тлеющую в углу. Ветка постукивала в окно, скользила в сторону и возвращалась. Спасенье наше – пять рупий. И ни комаров, ни демонов. Тлеющая спираль на голове у Шивы, бронзовой статуэтки из храма Марса, подарок свами. Ты за спиной, свернулась калачиком, в шею дышишь, будто в детской корзинке несешь тебя на спине. Красный мигающий уголек, там, в другой жизни, плывет во взгляде...

Лето, пыль, тишь, каменный мешок двора. Мне лет семь-восемь. Целюсь в мишень из лука. Видно, вырезанного из того полуживого дерева, верхние ветви которого облокотились на крыши, а нижние, стянутые двором, мажут по безжизненным окнам. Есть пожарная лестница. Можно подняться на крышу и идти над городом. Вниз – до Саксаганского, вверх – до Толстого. И еще туда, до Красноармейской, где можно смотреть парад с крыш, но это осенью. Дома старые, людей отселяют за реку, в новостройки, почти никого не осталось. В этом дворе лишь два окна горят по ночам – отца, и еще одно – через двор напротив. То есть не отца, а той, с которой живет теперь. У нее не голос, а пенопласт, и она им водит по стеклу с мокрым визгливым нажимом. А по вечерам смотрит телевизор, те фильмы, где незримый человек говорит за всех. А на коленях – черная зеленоглазая кошка, поглаживает ее и смотрит. И еще эта женщина почему-то похожа на деревенскую водокачку, однурукую, с тугим рычагом, на котором нужно виснуть всем телом, виснуть и отпускать, пока не зашипит ее голый рот со скошенным подбородком. Бог его знает, почему похожа, разве что эти руки, растущие как бы из шеи, или только так кажется. Старик стоит у окна и смотрит во двор. Черный костюм, белая рубашка с высоким воротом, красный цветок в петлице. Приподнимает цилиндр, белые волосы до плеч, зовет меня, помахивая ладонью. Полумрак, затхлая прохлада лестницы, дверь приоткрыта. В комнате никого, но мне не страшно, не так страшно, как это было в первый раз, когда я вошел, и голос старика, только голос, без тела, перемещался по комнате. Стекло подрагивало в буфете, а потом окно распахнулось, и старик прокашлялся – у противоположной от окна стены. И от испуга я не сразу увидел, что старик не стоял на полу, а висел в воздухе, там был небольшой зазор между его ступнями и ковром. Зазор, высотой примерно с его черные лакированные туфли, блестящие чуть в стороне от ног. И я смотрел, не отрывая взгляд от них, пока они не надели туфли и подошли к столу. А стены были увешаны диковинными афишами. Вот он – неузнаваемый, молодой – парит над головами зрителей. Вот вспарывает себе живот: кровавый таз внутренностей, отшатнувшиеся лица. Вот халат на гвозде. Его подарил ему китайский император, когда ни меня, ни отца, ни этих домов еще не было. Халат был расшит золотом и алмазами и весил двенадцать килограмм. А теперь – меньше двух. В годы войны он отпарывал от него бриллианты и обменивал их на рынке на хлеб и дрова. А по ночам запахивался в него, смотрел в огонь, ждал рассвета. Он уже давно сидит напротив меня, положив свою большую ладонь мне на колено. Сидит так прямо, что кажется, все предметы в комнате чуть сутулятся, даже стены. Ему завтра исполнится девяносто семь. У него ничего не осталось, кроме этого взгляда во двор. К нему приезжают из цирка на черных «волгах». Кио, он их называет. И не открывает им дверь. Мы спускаемся в подвал дома. Там, в тусклом углу за железной решеткой, пылятся его волшебные сундуки. Он улыбается за сомкнутыми губами. Он хочет передать мне свое ремесло. Хочет видеть во мне свое продолжение. Смотрит во двор, как я оттягиваю

тетиву, и стрела уносится в небо, а он все глядит из окна – ни отца уже нет, ни старика, ни окна – и стрела все летит, возвращаясь, ищет дерево, двор, и не может упасть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.